



Юрий Александрович Никитин

Мне – 65

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=158523

Юрий Никитин. Мне – 65: Эксмо; Москва; 2004

ISBN 5-699-07045-1

Аннотация

Едва ли не самый брехливый и в то же самое время скучный жанр – мемуары. Автор старательно кривляется, описывая жизнь, которую хотел бы прожить, но читающим все равно скучно. Вообще, заведя на титульной странице слово «мемуары», стараются не брать в руки.

И вообще, что может сказать Никитин? В Кеннеди стрелял вроде не он, во всяком случае, не признается, порочащие связи с Моникой тоже отрицает, что совсем уж неинтересно. Шубу, правда, вроде бы спер, не зря слухи, не зря, но что шуба? Так, мелочь. Вон какие скандалы каждый день!

И в то же время – самый трудный жанр.

И почти невозможно писать так, чтобы прочли все, чтобы дочитали до конца.

Содержание

Предисловие	4
Часть 1	6
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Юрий Никитин

Мне – 65

Тем, кто поймет эту книгу

Предисловие

Странно, да? Тридцать лет увильгивать от интервью, отказываться от встреч, не посещать конференции, съезды и прочие тусовки... а тут вдруг взял да выдал ворох воспоминаний! Ну да это ж козе ясно: всякий старый пердун, как только в маразм впадает, сразу же начинает рассказывать, какие они все были белые и пушистые и какая сейчас молодежь ни к черту.

Да и что за мемуары могут быть у Никитина? Другое дело: Столыпин, Рузвельт, Черчилль, Курникова, Бритни... Если мемуары, скажем, Черчилля, то про самого Черчилля можно и не читать, но вот про ту странную эпоху, в которой жил, про нашу страну, где бывал не раз, про его видение Сталина и России – любопытно. Про Курникову отдельный разговор, все понимаем, чего ждем от ее мемуаров, но что от Никитина?

Как уже сказал в аннотации, обожаю трудные ситуации и нелегкие задачи. Вызов принят, работа выполнена. Вот перед вами мемуары Никитина, которые, надеюсь, отличаются от большинства мемуаров. Почему так? В первую очередь потому, что умею смотреть не так, как абсолютное большинство, а смотрю, как НАДО. И как правильно. Если осилите эту книгу, на многие вещи отныне сами сможете и будете смотреть иначе. И оценивать по другой шкале.

Вообще я уверен, что мемуары могут быть интереснее иного боевика. Нужно только писать их для читающего, а не для себя, любимого. Беда в том, что чтение мемуаров напоминает листание альбома с семейными фото в гостях: хозяин самозабвенно токует, рассказывая, что вот он на горшочке, а вот на детском велосипеде, а вот какает под кустиком, а несчастный гость украдкой проверяет на ощупь толщину альбома.

Конечно, можно сказать многозначительно, как говорили в старину и как все еще говорят те убогие, которые хотят дурам казаться великими и загадочными талантами, – вдохновение посетило, сказало: пиши, а я подиктую. Но по вдохновению пишут только дилетанты, они никогда не поднимутся выше подножия пирамиды, где на вершине – жесткие профи.

Да и пора развеять очередное, но очень уж устойчивое заблуждение. Сейчас чем ленивее дурак, тем упорнее твердит о том, что все эпохи похожи одна на другую, что люди всегда были одинаковы, менялась только одежда... Словом, порет те привычные многозначительные глупости, в основе которых всего лишь тупость и нежелание копаться в источниках, изучать материал, а жажда побыстрее сляпать книжицу, фильм, пьесу и сорвать куш.

Это было всегда, и когда видите как сытый и важный дурак с экрана вещает, что в таком-то его историческом фильме он исследовал глубины души, тайные фрейдовские мотивы поступков таких-то деятелей, то читайте между строк: я, честно говоря, поленился хотя бы прочесть книгу, которую экранизирую, или малость узнать о той эпохе. Просто велел костюмерам напялить на актеров костюмчики, примерно подходящие к эпохе... а критикам можно сказать невозмутимо, что исследую глубины души, а души у всех-де одинаковы!

Черта с два. Я застал краешек эпохи, которая отличалась от нынешней настолько, что не поверите просто – насколько. Но это было – читайте. А дед мой застал еще более дивные времена, о тех и пересказать страшно – не поверите вовсе. И когда мой дед, тогда еще молодой, с другими мужиками и бабами забивали кольями колдунов, наводивших порчу на скот, насылали град на поля, превращались в черных котов и увечили коров, а утром как ни

в чем не бывало приходили в гости – то это еще только цветочки! И ведьм топили. И каждую весну ребенка закапывали на меже, чтобы урожай был... И стариков увозили на саночках в зимний лес и оставляли там, чтобы освободиться от лишних ртов. Ладно, молчу-молчу. Но смешно, когда говорят, что в эпоху князя Владимира на Руси ну не было никаких человеческих жертвоприношений, тишь да благодать патриархальная!

Впрочем, дело не в прошлом, я как раз о будущем. Оно тоже не будет таким, как его представляли в XVII веке или видят в нынешнем 2004 году. Оно будет таким удивительным и... неприятным, что редкий из ныне живущих принял бы. Как, скажем, не принял бы великий Пушкин нынешнюю эпоху, где отняли имение и дворянство, а чернь, которую так презирал и порол для забавы, уравнилась с ним в правах.

И еще. Это не роман, где плавно и ровно течет действие, а воспоминания. У воспоминаний странная особенность выныривать из памяти яркими цветными камешками. Ну пусть не бриллиантами, а стекляшками, но все равно это мозаика, собранная из множества фрагментов с четко очерченными краями. Конечно, я отбирал только те, что ложатся в картину, которые соответствуют ей, а она все-таки не обо мне, как вроде бы надо, исходя из жанра, а совсем-совсем о другом. Однако получилось или нет, судить вам.

Наверняка каких-то ярких камешков недостает. Что ж, вспомните – пришлите на frog@elnet.msk.ru. Составим летопись самой удивительной эпохи. В самом деле самой удивительной.

Часть 1

Я прекрасно понимаю, что большинству из вас я абсолютно неинтересен:-)). А что раньше избегал интервью, это понимают так, что, мол, мэтру сказать нечего, а книги за него негры пишут. И вообще, наверное, у него тиражи вниз пошли, раз вдруг целую книгу о себе, замечательном и великолепном, которого любит, соперников в этом деле не имеет.

Чтобы еще больше усложнить задачу, обещаю, что ничего не привру и не приукрашу. Всего лишь скучнейший быт. Бытописание, было такое ругательное слово. Еще раз предупреждаю: не боевик, не фантастика, не ужастик, надо бы просить наборщика выделить это крупным, жирным, толстым шрифтом, или, как теперь говорим, врубить болтом. Чтобы увидели сразу и поклали книгу взад на прилавок. А взамен цапнули лежащий рядом боевичок. Можно того же Никитина:-))

А в этой книге всего лишь скучнейшишачий быт... да-да, всего лишь серый быт!.. Правда, все мы понимаем, не совсем уж тупые, что если автор *действительно* умеет писать, а не просто таким его расписывает в рекламном проспекте издатель – кого еще не называли супермастером, покажите! – то любое написанное должен суметь сделать интересным. А то иные мастера с литературными премиями с головы до ног даже фантастику ухитряются говнякать серостью и занудностью!

Итак, год 1939-й... Пофигу, что не поверят и будут, погыгыгикая, махать пальцами, приставив большой к виску, но я хорошо себя помню... с внутриутробности. Конечно, тогда еще не знал, что то странное состояние называется внутриутробным. А затем в самом раннем детстве то непередаваемое ощущение, которое накатывает обычно перед сном, воспоминание о счастливом плавании в околплодных водах. Однако оно посещало очень часто. Именно в то время, когда укладывался спать, скрючивался, как мы в большинстве делаем, в позу эмбриона. Разум постепенно гаснет, накатывает теплая волна блаженства, исчезает мир, наступает странное состояние невесомости... воспоминания о невесомости, о некоем рубеже, к которому так сладко и таинственно приблизиться.

А потом в памяти осколки ярких картинок: склонившееся сверху женское лицо, что занимает весь мир, голоса, зеленый двор, люди-гиганты, что ходят на высоте, а я вижу только их ноги, слышу громахающие из-за туч голоса. Иногда что-то поднимает меня и швыряет в воздух, а потом огромные теплые ладони выхватывают из того же воздуха.

С трех лет я уже рисовал дедушкиным карандашом на выбеленных стенах людей и лошадок. По дому ходят большие крупные люди, везде витает запах столярного клея, дедушка постоянно мастерит лавки, табуретки, делает оконные рамы, ему приносят доски и заказывают сделать, сделать это, а он – лучший на Журавлевке плотник и столяр – выполняет заказы с раннего утра и до поздней ночи.

И еще аромат смолы: дедушка еще и лучший в округе сапожник. Он не только ремонтирует любую обувь, но и шьет на заказ, вон на полке два ряда деревянных колодок на все размеры и все типы ступней: с высоким, средним или низким подъемом.

То и дело надсадный рев, затем грохот, сотрясающий землю. Меня хватают в охапку и тащат в погреб, где отсиживаемся, пока грохот не прекратится. А когда вылезаем, то обнаруживаем в саду срубленные осколками ветви, а в стенах флигеля, где живем, зияющие дранкой и расщепленным деревом пробоины.

Иногда, когда раздавался вой и слышались взрывы, дедушка говорит спокойно:

– Эти бомбы пойдут мимо.

И все остаются в комнате. Разрывы все громче, страшнее, грохочущее, а потом начинают отдаляться. Бабушка с облегчением вздыхает, крестится, а дедушка объясняет снисхо-

дительно, что бомбы не вываливаются охапкой, а выпадают по одной, а раз самолет летит, то и они будут падать с промежутками, интервалами. И по прямой линии. Так что легко понять, где упадет следующая...

Бабушка снова крестится, вздыхает, она в таких делах не понимала и отказывалась понимать, вдруг вспомнила:

– Сегодня ночью Семенцовы задохнулись. Старого деда, говорят, еще откачают, а она с двумя детьми уже не проснется.

Дед покачал головой.

– Я всегда говорил, что слишком рано закрывает задвижку. Как-то зашел, а в доме уже угар... Спрашиваю, неужели не чуешь? А она грит: да пусть лучше голова поболит малость, зато не замерзнем до смерти.

– Они совсем бедные, – сказала бабушка с жалостью.

– А вот под горой, – вспомнил дед, – Куреннихины, так сами натопили напоследок остатками дров, а потом дед закрыл заслонку да еще и проложил тряпицей, чтоб уж наверняка.

Бабушка ахнула:

– Это ж грешно!

– Видать, больше не мог...

– Бог терпел и нам велел!

– У Бога терпенье больше, раз немцев терпит.

– И что Куреннихины?

– Там дед сказал, что лучше сразу, чем видеть, как дети умирают... Их было семеро.

– Пятеро, – возразила бабушка. – Я знаю, мы в родне.

– Пятеро своих, – пояснил дед, – да еще двоих от помершего племяша взяли. Но прокормить нечем, вся родня и соседи и так пухнут с голоду.

– Да, мрет народ...

– А город, почитай, весь вымер. Здесь хоть прятаться есть где, а там пока до бомбоубежища добежишь... Да и топить им нечем. И воды нет.

У нас на Журавлевке существовал маленький рынок, называемый «базарчиком». Однажды там партизаны подстерегли и застрелили двух немецких солдат.

Немцы мгновенно оцепили весь район, вытолкали из домов всех, кого обнаружили из мужчин, пересчитали, выбрали из строя двадцать человек и объявили, что расстреляют их из расчета по десять русских за каждого немецкого солдата, если... партизаны не объявятся.

Партизаны, конечно же, не объявились, и всех двадцатерых расстреляли. Самое удивительное для жителей Журавлевки было в том, что в число двадцати попал и настоящий немец, что приехал в нашу страну восемь лет тому и работал здесь главным инженером на заводе.

Несмотря на его мольбы, офицер, руководивший расстрелом, ответил хоть и с сочувствием, но непреклонно:

– Закон есть закон. Мы не можем вас ни отпустить, ни заменить другим, потому что это будет... нечестно. Пусть эти русские видят, что немцами правит закон. И этот закон мы несем по всему миру.

После расстрела двадцати жителей ближайших к базару домов партизанская активность прекратилась полностью.

Почему-то я не терпел оставаться один дома. Чтоб не оставляли, шкодил в квартире, хватал кружку и разливал по комнате воду. А теперь, когда у нас щенок, он точно так же шкодит, настойчиво добивается, чтобы не оставляли одного. Наверное, тот же инстинкт?

Пол усыпан сухой шелухой от подсолнечника, аппетитно пахнет маслом. Дед смолит дратву, я помогаю, это умею: нужно вытягивать из клубка особо толстую такую нитку, что почти уже веревка, а не просто нитка, и, держа ее натянутой, водить по ней куском смолы, прижимая с силой, так что дратва постепенно врезается в эту черную блестящую глыбу, похожую на удивительный драгоценный камень. Если тереть в одном месте, то нитка порежет пополам, как нож прорезает масло, но, конечно же, никто так не делает. Я тоже тру в разных местах, а дедушка следит, чтобы серая, как бечевка, дратва становилась черной и блестящей, просмоленной. В этом случае не размокнет, не перетрется и не лопнет, а башмаки, подшитые этой дратвой, будут носиться до тех пор, пока не сотрется подошва.

Центральное место в доме занимает, понятно, печка. И по размерам она едва ли не пятая часть, а то и четверть от всего пространства, сложенная умелыми печниками из красного кирпича. Сверху плита из чугуна на две или три конфорки, а сбоку одна или даже две духовки. В духовках пекут хлеб, пироги, куличи, пряники.

В торце две двери: большая сверху и маленькая, поддувало, снизу. В большую закладывают дрова и нижнюю приоткрывают когда настужь, а когда чуть-чуть, чтобы «поддувало» снизу, тянуло воздух, тогда в верхней камере разгорится лучше. Но приходится регулировать, нельзя, чтобы прогорело чересчур быстро. Огонь должен быть именно таким, чтобы не выше и не ниже нужного.

Конечно, прежде чем положить дрова в топку, сперва нужно выгрести то, что осталось от вчерашнего, то есть подставить старое «угольное» ведро и выгребать из печи «жужалку», – спекшийся шлак, – поднимая тучи пепла и золы.

На улице за сараем этот шлак тщательно просеивают через крупноячеистое сито, отбирая несгоревшие частицы дерева и угля. Они снова пойдут на топку, это добавка к дровам, а полностью бесполезный шлак можно высыпать зимой на дорожку к колодцу.

Затем в освободившуюся и прочищенную топку закладываются дрова. Сперва самые мелкие и сухие лучиночки, кусочки бумаги, потом покрупнее, между ними оставляется пространство, чтобы проходил воздух, иначе не загорится, затем поленца потолще.

Поджигается первая лучинка, ждем, пока все разгорится, сверху кладем еще дрова, уже самые толстые, по мере того, как проседает сгорающая мелочь, и в завершение – сыплем уголь поверх этих толстых поленьев. Когда огонь дойдет до них, жар в печи будет уже достаточным, чтобы начал гореть и уголь. От угля уже настоящий жар, толстая чугунная плита начинает светиться сперва багровым, вишневым, а потом уже алым светом.

Как во всяком доме, возле печи – жара, а возле окон холод. Чтобы выглянуть на улицу, прикладываешь палец к покрытому ледяными узорами окну и ждешь, когда протает. Если же хочешь получить красивые ровные дырочки, то греешь на печи пятаки и прикладываешь их, так получаются ровные красивые «глазки».

К вечеру все взрослые внимательно следят, чтобы в печи прогорело, не оставалось ни единого дымящего комочка, слишком много соседей угорали, поспешив перекрыть заслонку. И вот когда в печи остается только ровный красный уголь, заслонку перекрывают, и все тепло отныне не улетучивается через трубу, а остается в печи, а значит, и в доме.

Еще позже на печи уже можно сидеть, но сперва, правда, подстелив под себя множество толстых тряпок, иначе не усидишь. Это такое блаженство, когда сидишь на тепле, свесив ноги, лузгаешь семечки, и все так хорошо, покойно!

По комнате скачет веселый козленок, подпрыгивает и бодает в подошвы, требует, чтобы я слез и поиграл с ними.

Не слезу, играть можно целый день, а на печке посидеть удастся только поздно вечером.

Дед часто уходит в села на заработки, мастер на все руки: и плотник, и столяр, и сапожник, и шорник, умеет печи класть и вообще может дом построить от «фундаменту» до трубы на крыше. Однако и на селах везде бедно и голодно: немцы проходят волнами и всякий раз выгребают «масло-яйки», забивают кур и гусей, вообще всю домашнюю живность, вплоть до кроликов, уводят коров и коней.

По его возвращении в доме всегда пахнет давно забытым салом. На столе появляется тарелка, куда дед льет густое подсолнечное масло, бабушка сыплет соль – крупные серые кристаллики, похожие на льдинки, и мы начинаем есть лакомство, макая ломти черного хлеба.

Немцы ушли, две недели в городе безвластие, точно так же, как и при отступлении наших войск. Народ растаскивает все, что бросили немцы. Особым спросом пользуется мыло, многие бабы натаскали целые ящики, однако мыло оказалось каким-то странным, мылится совсем мало. Вернее, совсем не мылится. Знатоки объяснили, что это не мыло, а очень похожий на мыло тол, взрывчатка такая.

Нашим родственникам по линии бабушки, Евлаховым, несказанно повезло: удалось наткнуться на брошенные или забытые ящики консервов! Торопливо расхватили, с великими трудностями притащили из Старого города к себе на окраину, на Журавлевку, а вечером с торжеством открыли первую банку. Собралась вся семья с ложками, вилками. Открыли и... заорали дурными голосами. Бабы разбежались, зажимая рты, а Евлахов, мужественный человек, взял банку и, отворачивая голову, отнес к мусорной яме: лягушачьи лапки! Одни лягушачьи лапки – и больше ничего! Вспомнили, что в городе стояла итальянская дивизия, это все от них, проклятых лягушатников. Да лучше с голоду помереть, чем лягушек есть...

Традиционно выждав пару недель, опасаясь засады, в город вступила Красная Армия. Говорят, что это во второй раз. Первый раз вошли нищие и ободранные, одна винтовка на троих, пулеметы везли на коровах, а сейчас и вооружение намного лучше, и танки идут рядом. Дедушка сказал знающе, что на этот раз город уже не сдадут. Техника не хуже немецкой, а воевать наши научились.

Бабушка постоянно белит стены. Разводит толченый мел в ведре с водой, тщательно перемешивает, а потом макает в него широкую щетку и тут же, оставляя крупные капли на полу, мажет ею по стене. Новый слой мела покрывает старый, исчезают потертости, копоть, а также мои рисунки дедушкиным столярным карандашом. Я не помню, с двух или трех лет я научился рисовать, но мне кажется, что рисовал всегда.

Стены, по моему представлению, от частого беления все время сужаются, скоро станет тесно... Прислониться нельзя, выпачкаешься в мелу. Прежде чем выйти на улицу, каждый тщательно осматривает себя в зеркало со всех сторон: не задел ли где стену? Не прикоснулся ли? Все же можно было увидеть на улице человека, у которого то плечо в мелу, то локоть, то задница. И от мальчишек на улице не случайно постоянно слышится: дяденька, у вас вся спина сзади!

Подразумевалось как бы, что в мелу, и дяденька тут же начинал вертеться, пытаюсь увидеть собственную спину, а когда обнаруживал, что спина чиста, ему невинно объясняли, что спина у него в самом деле сзади.

Бабушка обычно будила меня к завтраку, говорила наставительно:

– Проснулся? Доброе утро...

– Доброе утро, – отвечаю я.

– Нет, – поправляет она терпеливо. – Нужно отвечать «Утро доброе». Слова переставлять, понимаешь?

– Зачем?

Она некоторое время мажет стену щеткой, макая в ведро с разведенным мелом, не зная, что ответить на такой трудный вопрос, наконец повторила наставительно:

– Утром нужно говорить «Доброе утро», днем – «Добрый день», а вечером «Добрый вечер». Запомнил?

– Да, бабушка.

– Отвечать же надо, обязательно поворачивая слова в обратном порядке. А это запомнил?

– Ну, ага... а как это?

– «Утро доброе», «День добрый», «Вечер добрый». Понял? Запоминай. Если кто на «Добрый день» ответит тоже «Добрый день», то это неуважительно и даже оскорбительно, понял? Это значит, что ты не слушаешь того, кто с тобой поздоровался, не обращаешь внимания, а сказал что-то просто для того, чтобы звук издать...

– Хорошо, бабушка.

– Смотри, не путай, – сказала она строго. – Это вон даже жида знают! На «Шолом Алейхом» отвечают – «Алейхом шолом», а вон Абдулла говорит «Салям алейкум», а мы ему отвечаем «Алейкум салям»... Запомнил?

– Запомнил, бабушка...

– Не забывай. Со взрослыми нужно быть вежливым.

Огромный двор, заросший странным необычным лесом, что выше меня втрое-впятеро, и я пробираюсь между толстыми влажными стволами, устраиваю там шалашики, убежища, гнезда, как иногда устраивают куры или гуси, что не желают нестись в курятнике и делают себе тайные гнезда, где откладывают яйца и пытаются их высиживать.

Дедушка принес двух огромных удивительных зверей, их называли трусами, лишь через несколько лет я узнал, что их зовут еще и кролями. Потом завели кур, уток, гусей, купили козу, что принесла веселых игривых козлят.

Потом – мелких подвижных поросят, что очень быстро вырастали в больших толстых свиней. Эти свиньи обычно лежат в сарае в холодке, но иногда гуляют по двору и роют норы, стараясь подрываться под сарай или под забор. А вот куры, гуси и утки свободно ходят на улицу. Я видел их только во дворе, это весь мой мир, лишь со временем я научился становиться на скамеечку и смотреть через забор на другой мир: огромный, пугающий, чужой, где ходят *другие*.

По улице ездят на скрипучих телегах, на подводах, подковы звонко цокают по булыжной мостовой, вылетают и быстро гаснут крохотные острые искорки. Когда лошадь останавливалась, возчик подвязывал ей к морде мешок с овсом, уходил, а она неспешно жевала, время от времени встряхивая головой, чтобы подбросить мешок и поймать в нем широкими мягкими губами зерна.

Иногда конский хвост поднимался горбиком, вываливались желтые тугие каштаны, некоторые разбивались о землю, другие расклеивали налетевшие воробьи, спеша добраться до еще теплых, непроваренных зернышек. На мостовой такие каштаны, расклеванные или нет, постепенно высыхали, рассыпались, проседали между неровно торчащими булыжниками, теряя цвет и сливаясь с серой землей.

Телеги двигаются по вымощенной неровной брусчаткой улице. Она тоже называется Журавлевкой, а от нашего дома уже – Дальней Журавлевкой, так что наш дом на этой улице первый, но под номером вторым, чего я долго не мог понять, пока бабушка не объяснила про четные и нечетные стороны.

Иногда по улице проезжает машина. Они делятся на легковые и грузовые. Легковые – это «эмки» и «победы», а грузовые – полуторки и «студебеккеры». «Студебеккеры» вскоре

исчезли, а полуторки еще долго ездили по улице. Потом появились трехтонки, чудовищно огромные и сильные машины, на которых уже можно было перевозить до трех тонн груза.

Вечерами женщины собираются в комнате у бабушки. Кто прядет, кто штопает, но все таинственными голосами говорят о ведьмах, что перекидываются черными кошками и ходят доить чужих коров, о домовых, что начали шкодить уж чересчур, а это не к добру.

Нюра дрожащим голосом поведала про черного человека с вот такой головой, что среди ночи садится ей на грудь, ну прямо дохнуть низзя, и смотрит красными глазищами. А тетя Василиса рассказала, что вчера она наконец решилась спросить воющего в трубе домового: к добру или к худу?

– Ну и как, что ответил? – допытывались бабы, обмирая от сладкого ужаса.

– Я слышала, – ответила Василиса с тяжелым вздохом, – в трубе прогудело: «К ху-у-у-ду-у-у-у...»

На миг примолкли, потом бабы начали галдеть, что это еще не обязательно к беде, может быть, домовый просто требует внимания. Надо ему побольше молочка наливать, масла капнуть, он и попобреет, перестанет насыщать порчу.

Пользуются особым вниманием рассказы о женщинах, которые в отсутствие мужчин спят с собаками. Якобы жены офицеров. Такой-то, мол, начал удивляться, что его любимая овчарка стала кидаться на него, когда он полез к жене... А такой-то обнаружил у жены синяки вот тут и тут, где овчарка хватает женщину передними лапами, когда имеет.

Рассказывают всегда только про жен офицеров и про овчарок. Это и понятно: есть собаки, они разные, а есть – овчарки. Это огромные, страшные собакозвери, выведенные специально для охоты на людей.

Их вывели фашисты, чтобы охранять наших военнопленных в концлагерях, а когда Германию победили, наши офицеры привезли оттуда с награбленным имуществом еще и этих страшных собак.

Солдаты, конечно, вывезти могли совсем немного: только то, что помешалось в мешках, которые могли унести на себе. Пользовался успехом рассказ про одного солдата, что стал миллионером, так как догадался привезти из Германии целый ящик иголок.

Иголки, понятно, на вес золота, если не дороже: вся страна шьет, штопает, латает. Иголки – самый ценный товар, а в ящике их сотни тысяч.

Иногда, в праздники в наш флигель набивались соседи, пряли, сучили шерсть, вязали, рассказывали страшными голосами жуткие истории про убитых, зарезанных. На этот раз зашел разговор, почему ведьмы перекидываются именно черными кошками: тетя Нюра, наша соседка и родственница, доказывала, что все злое должно быть черным, ссылаясь на Библию, приводила цитаты.

Бабушка слушала с недоверием.

– Ну а как же куры?

– А что куры? – спросила Нюра.

– У меня во дворе и белые, и желтые, – сказала бабушка, – и даже чернушущия, а яйца все равно от всех белыя!.. Ты разберешь, от какой какие?

– То куры, – возражала тетя Нюра, – а вот ворон был белым, пока не научил Каина, как убить Авеля! Бог его проклял, теперь тот черный! Черный, как грех.

– Но куры в чем виноваты?

– Куры тоже в чем-то да провинились, – отрезала тетя Нюра строго. – Господь зря не наказывает! А так вина на детях до седьмого колена, а потом остается, как знак. Ну, как вон волчий билет Прохору. Ворон тоже семь поколений бедствовал, все птицы его клевали, били и гнали от себя, а теперь более сытой птицы, чем он, нет на свете!.. Но остался черным, чтобы все помнили: грех наказуем!

– Ага, как дети лишенца, – сказала тетя Валентина понимающе. – Внуки врага народа... Но сын за отца, как говорит товарищ Сталин, не отвечает. Так что и нынешние вороны живут хорошо, ничо не скажешь. Как вон явреи, коих Господь рассеял по свету за своего распятого сына, но теперь прижились так, что даже Гитлер не сумел их всех изжить со свету.

Дедушка Савка, это мой двоюродный дедушка, подумал, сказал осторожно:

– Да вроде бы товарищ Сталин взялся... Евреи, которых он послал создавать в Палестине государство, еще и оружия надавал для целой армии, таки подняли восстание против Англии и создали Новый Израиль. Он же туда отправил целую армию! Да только не захотели те евреи входить в СССР, как велел им товарищ Сталин. Решили, как и этот проклятый изменник Тито, будь он проклят, жить отдельно. Как будто можно быть коммунистами и жить отдельно! Вот за это товарищ Сталин и маленько осерчал на евреев. Низзя обманывать такого человека, низзя!

Мой дедушка задумался, почесал в затылке, сказал в затруднении:

– Да оно непонятно, к добру или к худу. Осерчал на одних, а выместит на других.

– Дык одно племя!

– Ну это да, они все один за другого. Так что можно бить и по невиноватому – отзовется и на виновном.

Я уже не боюсь выходить за калитку и подолгу играю с такими же, как и я, по возрасту прямо на улице. Сейчас ее назвали бы проезжей частью, но тогда не было разделения на тротуар и дорогу, разве что видна колея от проезжающих телег. Там и трава растет хуже. Мы там почти не играем: кузнечики там не прыгают, жуки забегают редко, а муравьи роют норки под широкими листьями лопухов и других трав, что растут на улице. Иногда сверху останавливается огромный взрослый, смотрит, как слон на кролика, спрашивает:

– Ты чей?

Я обычно поворачиваюсь и указываю на свой дом, а ребяташки постарше объясняли, чей я. Взрослый начинал бормотать что-то вроде: «Сын Никитиных, внук Репиных и Носовых... это же двоюродный Евлаховым... внучатый племянник Ратнику... Улицкие – тоже их род... ага, значит, он мне родня по линии дедушки Ромоданских...»

И, ласково коснувшись моей головы, шел дальше. В конце концов я уже научился ориентироваться в своей ближайшей родословной, отвечал быстро и четко. Постепенно я понял, что на Журавлевке я довожусь родственником абсолютно всем, и даже «за рекой» и «под горой» половина нашей родни, там селятся убежавшие из наших Русских Тишков.

Целые села переселялись «в город», так это называлось, хотя селились на не занятых землях вблизи города, ставили такие же домики, спешно раскапывали землю для садов и огородов. Одно село, Русские Тишки, состояло из Носовых, а другое, Черкасские Тишки, – из Репиных. И те и другие невест старались брать друг у друга, как бы взаимно ослабляя соперника, а когда пришла беда раскулачивания, из обоих потянулись в город сперва раскулаченные, а потом вслед за ними – на индустриализацию.

Всю Журавлевку, огромный пригород Харькова, составило население двух сел, и все они в той или иной мере – мои родственники. Конечно, существуют еще и Тюринка, Рашкино, Алексеевка и другие пригороды, там *другие*, там *не наши*, а здесь свой мир, только наш род.

И снова, копаясь на улице в песочке или пуская в ручье кораблики, время от времени слышал над головой:

– Эй, строитель, а ты какого роду-племени?

Это потом я соображу, что застал еще деление на роды и племена, как было у полян, древлян, дряговичей, уличей и прочих древних славян. А также у всех древних племен, будь это в Ассирии, Месопотамии или Халдее. Взрослые всякий раз придирчиво расспрашивали,

чей я, затем долго устанавливали мои родственные связи, тянули нити, выясняя, что я довожусь такому-то троюродным племянником, такому-то тем-то, а с родом Евлахова я кровник через такого-то, что ниже родства с тюринцами, но выше родства с рашкинцами....

И так всякий раз незнакомыми уточнялось, кто принадлежит к какому роду. И лишь после этого начинались взаимоотношения, построенные на иерархии.

На улице столпились мальчишки, это Вовка вынес на блюдце большую каплю живого серебра. От тяжести это уже не шарик, расплющилось по донышку, переливается, странное и загадочное, перекачивается от одного края к другому. К Вовке тянутся наши ладошки, он гордо и по-царски наделил всех, себе оставил самую малость, завтра отец еще принесет...

Потом и мой дедушка начал приносить в бутылочке живое серебро, я часами играл с ним, катая по ладошке, не переставая изумляться странному живому металлу, жидкому, как вода, но такому непривычно тяжелому, даже более тяжелому, чем если бы я держал на ладони такой же кусочек железа или чугуна.

Блестящий таинственный шарик живого серебра бежит очень живо, всегда стремится найти место пониже, сопротивляется, когда его выталкиваешь, пытается протиснуться между пальцев, их надо держать крепко, ибо если упадет на пол, то разобьется на сотни крохотных блестящих бусинок, и тогда долго придется ползать на коленках, собирая на краешек листочка.

Когда две бусинки встречаются, мгновенно сливаются одна с другой, сразу превращаясь в шарик побольше. Я заметил, что этим шарикам самим хочется слиться, проверил несколько раз: ставил два на ровном месте, потом начинал осторожно придвигать один к другому. И вот когда между ними еще остается пространство, оба вдруг сдвигались с мест, соприкасались боками, и тут же мгновенно на их месте возникал шар вдвое больше, начинал блестеть счастливо и радостно, словно мать подхватывала на руки ребенка!

Уже и другие родители приносили с заводов и фабрик ртуть, так правильно называлось живое серебро, мы подолгу играли с ним, сливая в такие большие капли, что они уже по форме не капли, а больше похожи на налитое в тарелку густое масло.

Дед с силой колотит кремнем по огниву. Я выждал когда искорка покрупнее упадет в мох, бросился на четвереньки у печи и принялся дуть в нее, стараясь чтобы стала крупнее за счет нежных стебельков сухого мха. С третьей искорки удалось раздуть крохотный огонек, дальше осторожно сунул ему тончайший краешек, почти прозрачный кусочек бересты, больше похожий на шкурку, что слезает с кожи, когда обгоришь на солнце.

Дед крикнул с удовлетворением:

– Надежно... Это не спички, которые еще купить надо!

Я смотрел, как он укладывает все в кисет, завязывает толстым шнурком, тонкий трудно развязывать. Кисет висит на широком кожаном поясе, слегка оттягивает ремень.

Но мне больше нравились спички. Эти тонкие полоски дерева обернуты в бумажку, один край намазан коричневой массой. Чтобы зажечь, нужно отломить от полоски лучинку и чиркнуть намазанным местом по этой же бумажке.

Позже появились настоящие коробочки с уже нарезанными и уложенными лучинками. Оставалось только вынуть из ящичка крохотную палочку и чиркнуть ею по такой же коричневой полоске на боку коробочки. Так намного удобнее, и хотя такие коробочки стоят намного дороже, их покупали охотнее.

На все двери, ставни, окна и даже форточки ставят крючки. Потом им на смену придут задвижки, такие маленькие засовы, но раньше были только крючки. На косяк прибавалась

петелька, чтобы дверной крючок острым клювиком попадал в выемку, так запирались все двери. Когда крючок «откинут», он свободно висит вдоль двери.

В продаже крючки самые разные: от простых, из толстой проволоки, просто-напросто длинный гвоздь с колечком на одном конце и загнутым краем на другом, и до роскошных, отлитых в художественных мастерских, где на металле выпуклые сцены сражений древних воинов, сцен охоты или каких-то древних богов и богинь в непонятных ритуалах.

Много крючков с надписями на старом языке, там какие-то буквы, которых теперь нет, есть крючки с выпуклыми коронами разных видов, с гербами, начиная от привычных двуглавых орлов и заканчивая странными изображениями щитов с выдавленными на них диковинными зверями.

Дед Савка чинит конскую сбрую, я посматриваю на его могучие руки, игла в его руках, как маленький кинжал, простой иглой и не проткнешь толстую кожу.

Дедушка иногда вытаскивает из нагрудного кармана на металлической цепочке массивный выпуклый диск, нажимает рычажок, слышится щелчок, крышка откидывается. Я зачарованно смотрю в открывающийся волшебный мир: часы такие же, как наши ходики, только все внутренности упрятаны в эту коробочку, а взгляду открывается только сам циферблат с двумя стрелками: большой и маленькой.

Подумать только, каким надо обладать мастерством, чтобы часы, настоящие часы суметь упрятать в такую маленькую штуку!

Во всех учреждениях плевательницы: белые, круглые, фарфоровые, с отверстиями в середине. Стоят по углам, на перекрестках коридоров, а иногда и вдоль стен. Какие-то прямо на полу, некоторые – на подставках, тумбочках, даже на специальных решетках из толстых железных прутьев.

Люди, разговаривая, подходят к плевательницам, плюют, стараясь попасть. Для этого останавливаются прямо над плевательницей, выпускают слюну, чтобы та под действием гравитации падала точно в отверстие.

Как-то пошли мы с дедушкой, меня не с кем было оставить дома, в какое-то учреждение. Сперва шли по длинному коридору, где красиво белеют веселые плевательницы, вычищенные до блеска, сияющие, а потом перешли в другую половину здания, где и стены серые, и плевательницы темные, засиженные мухами, с комьями засохшей слизи. И стоят так редко, что всякий предпочитал плюнуть на пол или в пустой угол, чем искать плевательницу, из которой вылетит в ответ на плевок рой зеленых злобных мух.

Пока я рассматривал плакаты «Враг подслушивает!» на стенах, дедушка подошел к плевательнице, остановился над нею, растопырившись, даже наклонился, чтобы не промахнуться, долго жевал, собирая и соскребывая слизь не только с горла, но и с нёба, языка, смачно харкнул. Тяжелый комок звучно шлепнулся о самый край, серо-зеленый, медленно пополз по блестящей белоснежной поверхности к темному отверстию.

Он поморщился.

– Раньше попадал точно в середину с трех шагов... То ли стали делать их поменьше, то ли я стал...

Один из мужчин, что сидел и ждал очереди, кивнул, посочувствовал:

– Меньше стали делать, меньше.

– Зачем?

– Не знаю. И вообще их меньше стало.

Дед огляделся, покачал головой.

– В самом деле. То стояли через каждые два шага, а теперь...

Часы-ходики мерно тикают, гиря на цепочке медленно опускается к полу. Я уже научился, что, когда гиря опускается очень низко, нужно одной рукой приподнимать гирю, а другой потянуть за цепочку. Там в жестяном ящичке часов повернется колесико, и часы снова «заведены».

Однажды, когда часы все-таки остановились, а дома никого не было, я придвинул табурет, на него поставил табуреточку, взобрался и, сняв жестяный кожух, долго всматривался в зубчатые колесики, трогал цепочку с гирей, старался представить, как она тянет, как поворачивается колесико, на зубья которого, оказывается, надевается цепочка и заставляет его поворачиваться...

...как колесико цепляется зубчиками за другое и поворачивает, а то крутит стержень, на конце которого две стрелки: часовая и минутная. Так вот почему двигаются по кругу!

К приходу родителей ходики снова работали. Я долго крепился, но не вытерпел, рассказал, как я заглянул вовнутрь, разобрался и все починил.

Бабушка не поверила, для нее устройство даже таких часов – верх сложности, дед в задумчивости погладил меня по голове.

– Все понял?

– Все, дедушка. Сам могу сделать такие часы... но из песка не получится.

Он засмеялся.

– Не всегда будешь рыться в песочке. Не всегда!

Бабушка периодически стол не только моет, но и скоблит ножом. Столешница становится белая, чистая, снова пахнущая стружками, деревом. Но мыть стол – занятие трудное, в щели всегда набиваются крошки, потому стол обычно накрывали скатертью. Так и наряднее, а чтобы скатерть меньше пачкалась, ее сверху накрывали еще и красивыми цветными клеенками. Ну, а чтобы клеенку меньше пачкать, сверху стол застилали газетами.

Это так просто и удобно: мокрую грязную газету собираешь в ком вместе с объедками и выбрасываешь.

А по клеенке просто проходишься мокрой тряпочкой.

Скатерть тоже видно: ее края выглядывают из-под свисающей чуть ли не до полу клеенки.

Вечером дедушка принес желтоватые ровные поленца, пахнущие так, что я безошибочно понял: сейчас будем щипать лучину, это так интересно. Это непросто, зато какие тонкие ровные получаются палочки! Их связывают в пучки, которые бабушка держит в правом уголке мисника, сейчас бы назвали полками для посуды, но из посуды тогда были только оловянные и алюминиевые миски, из мисок едят все, и потому эти посудные полки называются только мисниками, никак иначе.

Мне нравилось смотреть, как горит лучина, это даже интереснее, чем керосиновая лампа, хотя не так интересно, как свеча, у свечи все больше и больше причудливых наплывов, пока наконец это уже и не свеча, а расплывающееся в блюде озеро, в середине которого догорает кончик нитки, называемой суровой.

При свете лучины рассказывают обычно о ведьмах, домовых, вылезающих из могил мертвецах, упырях, вурдалаках, песиглавцах и чугастырях. Дед иногда рассказывал, что сейчас наступил совсем-совсем другой мир, что сейчас жить очень хорошо, что сейчас нравы иные, а вот раньше...

И бабушка вступала в разговор, вспоминали детство, когда не было таких лет, даже дней, чтобы в их селах вдоволь ели. В семьях рождалось по пятнадцать-двадцать детей, выживали от силы пятеро, да и те редко дотягивали до возраста, когда начинают плодиться.

На стариков дети всегда смотрели как на обузу, постоянно спрашивали, когда же умрут, освободят место в тесной хате. А зимой самых старых сажали на санки, отвозили в лес и там оставляли. Так было принято.

– Но они же... замерзнут! – вскрикивал я.

– Да, – отвечал дед. – Конечно, замерзнут.

– Но разве так можно?

– Замерзнуть – легкая смерть, – объяснил он. – Становится тепло-тепло, так и засыпашь... Люди замерзают с улыбкой.

А бабушка поясняла:

– Когда хлеб заканчивается, а до нового урожая еще далеко, то либо всей семье умереть от голода, либо кому-то.

– А если есть понемногу? – спрашивал я шепотом.

– Все и так ели понемногу, – говорила бабушка с застарелой грустью. – Весной люди в деревнях – кожа да кости. Выходят и шатаются. Первую травку грызут окровавленными деснами, зубы-то от бескормицы выпадают... Так что, когда хлеб кончается, приходится выбирать, кому умереть: старикам или детям.

Я спрашивал, задерживая дыхание:

– А старики... соглашались?

– Они все понимали, – ответил за бабушку дед. – Сами просили отвезти себя в лес пораньше, чтобы хлеба осталось больше. Я же говорю, сейчас совсем-совсем другой мир! Стариков перестали отвозить в лес на смерть... это же, это же никогда такого не было! Всегда отвозили. А теперь вот не отвозят. Вообще.

– Хлеба хватает, – вставила бабушка.

– Хлеба хватает, – согласился дедушка. – Да и вообще... Сейчас, даже если не хватит, даже не знаю, вспомнят ли, что так надо. Испокон веков так делали, а сейчас вот перестали. Меняется мир, меняется... Такого еще не было. Все века стариков отвозили в лес, а сейчас перестали...

– Перестали, – подхватывала бабушка, как эхо, – перестали! Это же надо, перестали...

На реке можно нарезать лед крупными глыбами, погрузить на телегу и привезти домой, в подвал. Там лед укладывают как можно плотнее глыба к глыбе, посыпают сверху опилками, это не дает льду растаять. Во всяком случае, под опилками лед тает очень медленно, я сам видел тонкие льдинки еще в мае, а то и в июне.

Такие вот подвалы со льдом называются «холодильники».

Дедушка бреется бритвой завода «Zinger». Она у него еще со времен первой мировой войны. Прекрасная бритва, говорит дедушка, только вот лезвие уже сточилось почти наполовину.

Сперва он бережно острит ее на точильном камне, который из-за гладкости кажется просто куском мыла, а потом правит на длинном широком ремне, прицепленном одним концом к косяку двери.

Еще у него чашечка и лохматая щеточка для взбивания пены, которой обильно покрывает лицо. И вообще у всех мужчин широкие ремни, на которых правят бритвы.

Это основное, для чего существуют ремни.

Дедушка рассматривает письмо с фронта и говорит с удивлением:

– Смотри на штемпель...

Бабушка всмотрелась, ахнула, отодвинулась.

– Господи, что же это?

– Да вот, похоже, перемены...

– Но как же можно?

Дед снова подумал, посмотрел в потолок.

– Наверное, сейчас самое время. Мы наступаем, уже в Германии. Самое время слово «боец» заменить на слово «солдат».

Бабушка перекрестилась, глаза испуганные.

– Теперь что же... Наши в армии будут зваться солдатами?

Дед кивнул.

– Да. Видишь, «Солдатское письмо». Приучают, что они хоть и бойцы, но уже и солдаты.

Потом я слышал спросонья, что обсуждали новую форму для командиров. Теперь их будут называть офицерами, они снова будут золотопогонниками, снова вернутся к старым званиям: капитан, полковник, генерал...

Мне уже доверено закрывать окна. Сперва выходишь на улицу, чтобы сделать самое главное: закрыть ставни. Тяжелые, дубовые. Наши ставни выкрашены в темно-зеленый цвет, от которого веет войной, защитной формой бойцов, в то время как почти у всех на улице они коричневые: наш сосед купил дешево бидон краски и поделился с нами.

Вот ставни плотно сомкнулись, я накладываю крест-накрест железные слуги, закрепляю. Между толстыми досками остается едва заметная щелочка. Мой дедушка, искусный столяр, сумел бы подогнать так, что между ставнями не протиснулся бы и волосок, но с улицы в такую щель ничего не увидишь, как и не пролезешь, а из дома в такую щель, приложившись глазом, можно рассмотреть многое, если не все-все.

Вернувшись в дом, я набрасываю с правой ставни на левую крючок, там толстая петля, потом затворяю створки окон, и теперь наш дом надежно отгорожен от улицы.

На ночь дверь обычно еще и подпирали поленом, для этого на деревянном полу в каждом доме прибавляется такая железная пластинка с бортиком, чтобы одним концом полено упиралось в дверную ручку, а другим – в этот бортик.

В домах, где пол земляной, в земле просто ямка, в которую упирается такой вот добавочный запор. Так вот ставнями закрывали испокон веков, как говорит дедушка, это надежно, проверено. Раньше стреляли из луков, так вот такие ставни никакая стрела не прошибет, можно отсиживаться, даже отбиваться. Каждый дом превращается в маленькую крепость.

Я по ночам, засыпая, представлял конных всадников в лохматых шапках, что несутся по улице с визгом, спешат увидеть дом без ставень, чтобы ворваться, убить всех или забрать в полон, разграбить, унести «добро»...

Сегодня закат был просто диким, сумасшедшим. Красным залило полнеба, а багровое солнце распухло немыслимо, от него пошел алый пар, небо пылает, по небосводу сползают реки тягучего горящего клея.

Как только в комнате начало темнеть, я долил масла, поджег спичкой фитиль и тут же осторожно накрыл стеклянным колпаком. Тяга усилилась, желтый огонек с готовностью вытянулся вверх. По ободу стал красным, затем перешел в багровый, а с кончика начали срываться черные крупинки копоти. Я чуть-чуть повернул колесико, уменьшая пламя, вспомнил, что дедушка говорил, надо чуть подрезать фитиль, тогда копоти будет меньше.

На низком потолке уже темнеет все расширяющееся пятно, словно оттуда смотрит беззвездная ночь. Ничего, завтра бабушка снова побелит, она очень любит белить.

Яркое солнце, ласковый ветер, птицы весело щебечут, радуются, как говорят взрослые, окончанию войны. Мальчишки запускают бумажного змея с длинным хвостом из тряпочек. Не все умеют их мастерить, здесь надо чувствовать, как и что. Кроме планочек и умело наклеенной бумаги, необходимо еще очень точно подобрать длину хвоста, сбалансировать, чтобы тяга была ровной, чтобы змей не рыскал из стороны в сторону.

Отец мой ушел на фронт в первые дни войны и уже не вернулся. Последнее сообщение было из-под Берлина, где он, тяжело раненный, попал в госпиталь. Но я его не помню, в моей жизни только мама и бабушка с дедушкой. Недавно они присмотрели на соседней улице угловой домик, что выходит прямо на перекресток, там сходятся пять улиц. Место прекрасное, земельный участок очень большой. Домик ветхий, под соломенной крышей, дедушка спросил меня, похлопывая по плечу:

– Помогать будешь?.. Мы сможем снести этот курятник, а на его месте построим просторный дом!

– Еще бы! – ответил я с азартом. – Конечно.

– Тогда беремся, – решил дед. – Но смотри, работы будет много.

– Дедушка, мы сможем!

После купли избушки разметать ее было делом пары часов, а затем заново рыли яму под фундамент, покупали кирпич и укладывали на дно, скрепляли цементом. А затем возвели стены из отесанных бревен, я обил их крест-накрест дранкой, чтобы глина держалась, потом врезали окна, сами застеклили, и к концу лета дом был готов. Изнутри и снаружи бабушка побелила раствором мела, но снаружи после каждого дождя приходилось белить заново, так что еще два года собирали деньги на кирпич, и в конце концов обложили весь дом. Он так и назывался «обложенный» в отличие от возведенных из кирпича. Такие дома, «обложенные», считаются надежнее и теплее, чем со стенками только из кирпича.

Особенно впечатляла крыша: дедушка сумел выписать с завода металлическую черепицу. Это было невиданно, так как вся остальная Журавлевка цветет золотыми соломенными крышами. Ничего не изменилось со времен полян, улочек, хеттов, ассирийцев и всех, кто выращивал пшеницу, а вот у нас другой век: крыша из настоящей жести! С горы, где располагается старый город, вся Журавленка выглядит как огромная желтая поляна с распутившимися одуванчиками, и только наша крыша блестит металлом. Сверху в солнечный день наш дом кажется упавшим на землю осколком солнца.

Двором начали заниматься на следующее лето: раньше здесь был сплошной бурьян высотой в человеческий рост. Рыли ямы, засыпали туда привезенный чернозем, сажали яблони, груши, сливы, вишни. Вдоль того места, где должен быть забор, засадили малиной. А забор поставили еще через два года, когда накопили денег на доски.

Крышу пришлось покрасить: начала ржаветь, увы. Но дом прекрасен: большой и просторный, и сделали мы его с дедушкой вдвоем, сосед приходил только помочь поднять тяжелую поперечную балку на крышу.

В Харькове евреев много, настолько много, что на всех, как говорят на улице, просто не хватает мест у кормушки, где с портфелями и в шляпах. Многие вынуждены работать мастеровыми, так что у нас на Журавлевке евреи точно так же, как и мы, пасут коз, ходят с ведрами на коромысле к колодцу, сажают в огородах картошку, доят коров.

Еще на Журавлевке появились цыгане, купили два дома, но набилось туда их столько, что кажется, треть Журавлевки – цыгане.

Первые фильмы смотрим во дворе здешнего киномеханика: он вешает на стену старую простыню, выносит треногу со стрекочущим проектором, где нужно постоянно кру-

тить ручку, и мы, рассевшись кто на бревнах, кто прямо на земле, смотрим, затаив дыхание, настоящее кино.

Потом, когда начала налаживаться послевоенная жизнь, один бесхозный каменный сарай разделили между пожарным депо и кинозалом. Кинозал гордо называли кинотеатром «23-го августа», это день освобождения Харькова от немцев, там помещается сто человек на сдвинутых скамейках.

Конечно, все фильмы идут по частям. После каждой части киномеханики меняют катушки, это занимает минут пятнадцать-двадцать, потом то ли из-за сноровки, то ли улучшенной техники, но начали укладываться в десять минут, и фильм продолжался дальше.

Прошло несколько лет, прежде чем научились ставить катушки с лентами на два кинопроектора, синхронизировать их работу так, что зрители почти не замечали, когда одна лента заканчивалась и проектор выключился, а его работу подхватил второй.

Хорошо помню, как ходил смотреть знаменитый фильм «Путевка в жизнь». До этого по большей части фильмы немые, с подписями, как сейчас говорят, с титрами. А в «Путевке в жизнь» все разговаривают, даже поют. Там о том, как ээки перевоспитываются, прокладывая железную дорогу. Вся страна потом распевала за одним из героев, бывшим ээком: «Мустафа дорогу строил, Мустафа по ней идет!..» Правда, Мустафу убил подлый кулак, вздумавший устроить крушение первому поезду, но умирающий Мустафа из последних сил предотвратил крушение и тем самым заслужил в наших глазах право если не на помилование, то на реабилитацию.

Еще через несколько лет на экраны вышел первый цветной фильм «Падение Берлина». Все бабы с восторгом пересказывали друг другу эпизод, где офицер полез за пазуху подстреленного друга и вытащил оттуда красный от крови платок!

И еще хороша была сцена, когда товарищ Сталин сходит с трапа самолета в побежденном Берлине и мудро отдает приказы по его восстановлению, где будет счастливо жить немецкий народ, освобожденный от фашизма.

Правда, остальные фильмы по-прежнему идут черно-белые, еще много лет цветных не было. Они, как объясняли знающие, слишком дорогие, там особая пленка, сложнее процесс обработки, хранить их невозможно, через год выцветают, все копии приходится на помойку, а вот черно-белые чуть ли не вечные.

Фильмы в нашем крохотном кинотеатре, как и по всей стране, идут в основном «трофейные», то есть захваченные нашими войсками в гитлеровской Германии. Наибольшим успехом пользуются «Тарзан» и «Индийская гробница», хотя уже тогда понимали, что первый – американский, а американцы вроде бы союзники, хоть и очень не спешили с открытием второго фронта, а вот «Индийская гробница» действительно трофейный, так как немецкий.

Впрочем, если этот фильм американцы продали в фашистскую Германию и те их крутили в своих кинотеатрах, то это уже немецкое имущество, и потому мы имеем право все это выгребать в оплату за то, что немцы все здесь спалили, взорвали и разрушили.

Из Германии непрерывным потоком идут эшелоны с немецкими станками: токарными, фрезервальными, вообще вывозят оборудование целыми заводами. Когда я впоследствии пошел работать слесарем на завод ХЭЛЗ, то обнаружил, что только стены завода наши, а внутри все трофейное: от станков до последних гвоздиков.

На квартирах тогда жили, снимая угол, то есть по четыре человека в комнате. Снимать комнату было непозволительной роскошью, а чтобы снимать квартиру целиком – о таком даже не слыхивали.

Утро начинается с бравурной музыки и бодрых сообщений о новых способах закалки стали, о новой плотине, об открытии нового сорта яблок, о подвиге летчиков, сумевших без посадки с такого-то места и до такого-то. В Африке вчера открыли новый народ... ну, это неинтересно, в Африке, которую только-только начали исследовать, каждый месяц открывают по народу и каждую неделю находят новое племя.

Вся Африка на карте поделена ровными линиями на разноцветные квадраты и прямоугольники. Так обозначены колонии. Больше всего зеленого цвета: как и вообще по земному шару – зеленым закрашена Англия, а также ей принадлежат колонии: Индия, Новая Зеландия, Канада, Непал, весь Ближний Восток с множеством арабских стран и еще много-много земель и масса островов во всех океанах. Это все владения Англии – владычицы морей. Правда, Индию вот сейчас перевели из колонии в доминион, но это все равно колония, а вице-короля ей назначают из Англии. Совсем недавно зеленым была закрашена и та часть, где теперь США, они раньше были колонией Англии, но там взбунтовались против тяжелых налогов, подняли восстание и после долгой войны добились независимости. Сейчас против английских империалистов и проклятых колонизаторов воюют Афганистан и Палестина, добиваясь независимости.

Воспитание воли. Сейчас это забыто. Но тогда вся страна воспитывала в себе волю. Самым лучшим качеством у человека считалась воля, а лучшие люди – волевые.

С самого раннего детства ребенок должен был воспитывать в себе волю. Начинать с самого простого: отказа от любимой конфеты, и до приказа себе делать скучное или вовсе неприятное, но очень нужное дело. Обычно – нужное стране и товарищу Сталину.

Все киногерои – только волевые люди. Волевой человек – это все. И в характеристике на любого этот пункт присутствовал обязательно.

Сейчас вот, к примеру, в то время, когда пишу эти строки, еще сохранился такой архаизм, как «безвольный человек», но что такое волевой – уже не знают. Как все знают, что такое «нелепо», а вот слово «лепо» уже ушло, ушло...

Почему-то слова с положительным значением исчезают быстрые, а вот негативные накапливаются. Или языковой состав, как зеркало, лишь отражает то, что происходит в жизни?

По вечерам бабушка зажигает каганец. В комнате сразу становится светлее. Оранжевый огонек трепещет от каждого движения воздуха, потому возле него нельзя делать резких движений – погаснет.

По стенам начинают двигаться огромные страшные тени: угольно-черные, угрожающие, резко изламывающиеся на стыках стен, прыгающие резко с одной на другую.

Каганец, где прячется огонек, постоянно привлекает мое внимание. Оказывается, на землях, где мы теперь, существовали какие-то загадочные каганы. У них были эти светильники. Потом наши князья каганов победили, извели начисто, только и осталось от них, что вот эти каганцы, светильники.

Соседская девочка допытывается у меня, хазэр я или не хазэр. Дед объяснил мне, что здесь когда-то обитало такое племя, это у них были каганы, правители. Каганов перебили, а народ зачем перебивать, народ землю обихаживает, народ нужно стричь и шкуры с него драть, а не убивать. После той войны, когда перебили хазэров, победители и победившие одинаково пахали, сеяли, строили. Приходили другие победители, объявляли, что отныне шкуры будут драть только они, и тоже драли точно так же, так что теперь уже и непонятно, кто хазэр, а кто печенег, половец или черкас. Только черкасы все еще говорят на малоросийском наречии, а все остальные, хазэры или не хазэры, уже на русском.

Только и остались у нас вокруг Журавлевки села Печенеги, Большие Печенеги, Печенга, Куманы, а также Печенежская горка, Печенежское урочище, ярлок Печенегов, Куманская балка... а сами куманы и печенеги уже теперь русские. Или украинцы, какая разница?

Только от половцев остались только куманцы да слово «кум», а названия речек, горок и оврагов уже были заняты ранее исчезнувшими печенегами.

Ну а мы, как сказал дедушка, похоже, тоже печенеги. Только говорим уже по-русски. Хотя, может быть, и хазэры, кто теперь знает?

Осваиваю сложнейшую конструкцию навороченного светильника: лампу со стеклянным колпаком. Лампа, естественно, заправляется маслом, это тот же светильник, которым пользовались каганы в своем хазарском каганате, но фитиль свернут в трубочку, поворотом ключика можно выдвигать из щелочки и убирать, а сверху все это накрыто стеклянной трубкой с зауживающимся концом наверху.

Трубка служит для того, чтобы случайно не задуть огонек, ведь лампа стоит обычно посреди стола. Сняв стеклянный колпак, я уже умею ловко подрезать сгоревшую часть фитиля, в этом случае лампа сразу вспыхивает вдвое ярче. Еще я выкручивал фитиль до отказа, и тогда пламя полыхает так, что стекло могло треснуть от жара, но можно фитиль поворотом ключа втянуть вниз в жестянку, и тогда огонек едва-едва горит...

Каганы умерли бы от зависти, видя такое техническое достижение!

Со свечей надо снимать нагар, в плошки вовремя добавлять масло, но самое сложное – вот эта лампа: и масло подливать, и фитиль подкручивать не слишком, даже не из-за экономии масла или фитиля, хотя надо экономить то и другое, сгорает очень быстро, но стекло быстро коптится, может раскалиться так, что лопнет. В любом случае надо стеклянный колпак снимать и чистить, а без него тоже никак: вытянутая кверху труба не только укрывает пламя, чтобы не металось при каждом движении по комнате, но и создает дополнительную тягу.

Раньше чисткой занималась бабушка, но теперь, когда я научился ухаживать за лампой, эту важную работу доверили мне.

Летом мухи роятся такими массами, что в комнате вечные сумерки. Они облепляют стены, потолки, носятся в воздухе такими тучами, что по комнате приходится ходить размахивая руками, прищурившись и плотно стиснув губы. Мухи стучаются в лоб, щеки, попадают в рот, стараются залезть под веки и отложить там яйца.

Эти же мухи заполняют двор, роятся в коридоре, а в комнатах их висят целые тучи в воздухе. Кроме того, облепляют стены так густо, что белые стены выглядят серыми. По комнате нельзя пройти, не столкнувшись с двумя-тремя десятками.

Единственная электрическая лампочка постоянно облеплена мухами. Когда включаешь свет, лампочка сперва светит совсем слабо, но, когда разогревается, мухи покидают горячее стекло, оставляя на нем темные пятнышки.

Время от времени бабушка объявляла, что будем выгонять мух. Мы все: бабушка, дедушка, мама и я берем в руки полотенца и тряпки, становимся в ряд у стены и начинаем размахивать, сгоняя мух со стен. Двери во двор, конечно, распахнуты настежь. Мухи поднимаются, мечутся, выискивая тихое место, и вынужденно устремляются в сторону от тряпок.

Мы надвигались, размахивая как можно быстрее, бабушка властно покрикивала:

– Феня, у тебя щель у стены!.. Не давайте прорываться вниз!.. Чаше машите, чаще!

– Справа прорвутся!..

– Не спешите, не спешите!.. Все вместе, вместе!...

Мы теснили мух, оставляя за собой очищенное пространство. Они поневоле вылетали в раскрытые двери, а мы, усиленно работая тряпками, как самолеты пропеллерами, добирались до порога, и тут обнаруживалось, что множество мух сумели остаться в комнате, спрятавшись за комодом, за кроватью, за горшками с цветами.

Поспешно возвращаемся и, размахивая полотенцами и тряпками, поднимаем их в воздух и тесним тоже к распахнутой настежь двери. Как только все оказывались на пороге, усиленно размахивая тряпками, бабушка, глава нашей семьи, захлопывала дверь.

– Фух, – говорила она с удовлетворением. – Как хорошо без них!..

– Хорошо, – соглашалась мама.

Она всегда работала по две смены, работала в выходные, так что я видел ее даже реже, чем горластых соседок, которые ухитрялись прожить и в такое нелегкое время, ни разу не появившись ни на заводе, ни на фабрике.

Конечно, в комнате оставалось десятка два этих крылатых тварей, но уж не сотни, когда ходишь по комнатам, раздвигая тучи мух, как темные и грязные занавеси.

Для борьбы с мухами придумывали всевозможные мухобойки: от простых палок с прибитой на конце резиновой подошвой до изящных и красивых с резной ручкой из слоновой кости, украшенной затейливой резьбой.

От ударов мухобойками остаются кровавые пятна на стенах, и в конце концов все стены становятся пестрыми, белить приходится очень часто. Я придумал другой способ избавления от этих тварей: брал длинную иглу и очень медленно приближал острое к сидящей мухе. Обнаружил на опыте, что муха не замечает, когда к ней приближаешься очень медленно. Острие почти касается ее спины, а муха все еще сидит, чешет лапками брюшко или спину. Тогда делаешь легкий выпад, и муха наколота на острие!

С торжеством я бегом отношу своим родненьким муравьям во двор. Те хватают добычу, добивают и ликующе тащат в норку. Иногда я даю им мух прямо в комнате, они выходят из щелочек в стене на подоконник и бегают там в поисках чего-нибудь съедобного.

Конечно же, я кладу им несколько крупинок сахара, муравьи радостно волокут к щелям, но это не еда, а лакомство, еще муравьишки очень любят рыбу, потому я для них отщепляю самые тоненькие волоконца. Если муравьи не затаскивают сразу же, волоконца высыхают через несколько минут, становятся ломкими. Такие, сушеные, муравьи утаскивают тоже очень охотно.

Дорога к школе проходит мимо церкви, высокой, красивой, двуглавой. Она возвышается посреди просторного зеленого поля, огороженного высоким решетчатым забором. И если через другие заборы мы лазили не просто охотно, но и как бы по обязанности: любой забор – вызов, то через этот остерегались. Нечто мрачное по ту сторону, недоброе, темное, связанное с покойниками, духами, привидениями, потусторонней жизнью.

Время от времени на колокольне звонят, в церкви часто организовываются крестные ходы, собирается народ на церковные праздники. Некоторые запоминаются особенно ярко: к примеру, пасха, Рождество или Крещение, когда в морозы изо льда ближайшей реки вырубают огромные куски, обтесывают в исполинские квадраты и на санях доставляют в церковный двор, где из них сооружают огромный крест высотой с двухэтажный дом.

Великолепное зрелище, когда масса народа несет зажженные в церкви свечи домой, словно живой огненный ручеек людей растекается по домам, унося зажженные в церкви свечи. Это называлось «страсти» с ударением на последнем слоге. Нужно принести свечу горящей, потому многие несут в кулечках из промасленной бумаги, через которую пробивается свет. Когда в кулечке, то порыв ветра может достать слабый язычок огня только сверху. Лишь чуть колыхнет, и свободная ладонь тут же инстинктивно дергается, прикрывая огонек от ветра.

С детства душа трепетала от восторга, когда в абсолютно темном мире появляются огоньки, их становится множество, и вот уже целая река огня течет через враждебную ночь... Люди идут медленно, торжественно, оберегая ладонями слабый трепещущий огонек.

Да, что-то в этом ритуале особое: вот так идти через ночь, идти медленно, идти и все время беречь огонек, не давать ему погаснуть, словно это и есть твоя душа, словно и есть та самая искорка, которую в человека вдохнул Бог, и ежели погаснет, то погаснет и сам человек... вернее, вернется в животное, каким был и каким стать очень легко.

Совсем легко стать животным: достаточно неосторожного движения, достаточно на миг забыть об этом огоньке. И так всегда и везде: идешь ли ты сейчас, держа в руках свечу, или же летишь в салоне лайнера, сидишь в кресле предпринимателя, президента, школьного учителя, работаешь ли менеджером, слесарем или дворником.

Не дай загасить твой огонек!

Мать почти не вижу: уходит рано, когда сплю, а приходит за полночь, так как работает на ткацкой фабрике ткачихой по две смены. Но сегодня редкий день, когда у нее выходной. Вернувшись из магазина, высыпала на стол три цилиндра из толстой бумаги, похожие на патроны восьмого калибра. Она улыбалась довольно, я спросил удивленно:

– Что это?

– Изобретение, – ответила она гордо. – Теперь не надо будет драться с мухами.

– Почему?

– Вот смотри, берешь за кончик, тут колечко, вытаскиваешь, а колечко цепляешь кверху...

За колечком, надетым на мой палец, потащилась по спирали желтая бумага, сладко пахнущая, покрытая желтоватой слизью, с виду напоминающей мед. Когда бумага натянулась, показывая, что все, дальше не пойдет, мама взяла за колечко и ловко подвесила к двухжильному проводу на потолке, на котором в центре комнаты висит лампочка.

Любопытные мухи тут же тучей закружились вокруг, некоторые торопливо садились, стараясь опередить подруг, прилипали, отчаянно жужжали, крылья тут же прилипали, звонкий зуд обрывался... Я думал, что остальные поймут и станут держаться подальше, но они как одурели, садились и садились на липкую ленту, вскоре вся она оказалась усеянной темными комочками, а к вечеру уже потемнела так, что из темной вяло шевелящейся массы проглядывали только желтые пятна, а потом исчезли и они.

Мама сняла отяжелевшую ленту и выбросила в мусорное ведро, взамен подвесила новую. Не довольствуясь одной, еще одну подвесила возле открытого окна. Вскоре я уже видел, что мух в комнате стало меньше. Но у нас не осталось больше этих липучек!

– Они всего по двадцать копеек, – утешила мама. – Завтра еще подцепим.

С тех пор эти желтые липкие ленты развешиваются по всему дому и даже в коридоре. Ходишь, как между сталактитов, стараясь не задеть головой: сразу же прилипнешь, потом не просто высвободить волосы из липкой вязкой мази.

Эти патрончики стали продавать по пятнадцать копеек, а когда пошло массовое производство – по десять, а затем уже и по пять. Мы продолжали их развешивать в комнате, коридоре, на входе в дом.

Еще в аптеках появились новинки: желтые сухие листочки, на которых нарисованы мухи и черепа с оскаленными зубами. Я рассматривал долго, наконец аптекарша спросила участливо:

– Мальчик, ты забыл, что покупаешь гематоген?

– Да помню, помню, – пробурчал я с неловкостью. – А что вон то такое?

– Это новое средство против мух.

– Да?... Его надо подвешивать?

– Нет, – объяснила она охотно, – здесь совсем другой принцип. Берешь блюдечко, наливаешь теплой воды...

Она объясняла подробно, доходчиво, я слушал, слушал, а потом вместо плитки гематогена купил несколько листочков и торопливо принес домой. В одно из блюдец с отбитым желтеющим краем, его не жалко, налил воды, положил листок отравленной бумаги и поставил на подоконник.

Конечно же, мухи налетели тут же. К моему разочарованию, пили с удовольствием, потом улетали, весело жужжа. Я рассердился, что за жульничество, хотел было вылить воду, что вовсе не яд, но тут на подоконник упала муха и, лежа на спине, вяло шевелила лапками. Я затаил дыхание, наблюдал. Муха вскоре издохла.

Все правильно, подумал запоздало, мухи и должны падать не сразу. Иначе другие поймут, что это яд, и расскажут другим. Да и начнут тонуть прямо в блюде, а это напугает других. А так мрут и сами не знают, что не то съели или выпили.

Вечером, когда пришла мать с работы, я с торжеством доложил о самостоятельном действии. Усталая мать погладила по голове. Я чувствовал, как тяжела ее ладонь, горячая и покрытая твердыми мозолями.

– Молодец, сам додумался?

– Да, мама.

– А деньги где взял?

– Я гематоген в другой раз куплю.

Лебеди всегда означают неразрывную любовь, любовь до смерти, ибо лебеди женятся только раз, а если лебедиху убить, то лебедь взлетает высоко-высоко, поет печальную песню, а потом складывает крылья и – вниз, оземь, насмерть...

Потому на ковре, а у кого ковра нет, то на холстине или даже на клеенке обязательно рисуют двух целующихся лебедей и вешают на стенке у кровати. Это символ долгой счастливой жизни в любви и счастье.

Потом, когда рухнул железный занавес и наступила хрущевская оттепель, это признали мешанством, в моду вошел абстракционизм, в котором никто ничего не понимал, но все страшились в этом признаться и наперебой говорили, как это гениально и как восхитительно, покупали роскошные альбомы по абстракционизму и ставили на видное место, чтобы входящие видели: здесь живут очень современные люди.

Но тогда в каждом доме над кроватью висел коврик с целующимися лебедями. А у деда Савки так и вовсе лебедь плывет по озеру и везет в лодке витязя в доспехах и с мечом на плече. А женщина в белом машет платочком с берега.

Каждый день, усевшись кружком, как обезьяны, снимаем рубашки и бьем вшей. Дед Савка вообще придумал, как еще быстрее и проще: расстилает рубашку по столу и катает по ней бутылкой. Слышится частый хруст, рубашка покрывается серо-бурыми пятнышками.

В школе один-два урока тратим на то, что классами ходим на «прожарку». Там мы, раздевшись в предбаннике, принимаем душ, а наша одежда, подвешенная на железные крючья, медленно уплывает в камеры, где страшный жар убивает все живое.

Пройдя по широкому кругу, одежда возвращается к нам. Мы снимаем с крючьев еще горячую, странно пахнущую, одеваем и возвращаемся вместе с учителями в школу, на какое-то время полностью избавленные от вшей.

Во всех магазинах продают рыбий жир. Привозят в бочках, отпускают ведрами. Конечно, рыбьим жиром пытались поить и меня, это настолько отвратительное пойло, что

никакие силы не могли заставить проглотить хотя бы чайную ложечку. В то же время мои товарищи могли пить стаканами, спокойно ели с хлебом. Многие наливали в тарелку, крошили хлеб и ели, зачерпывая ложками. Кто-то просто намазывал кусок черного хлеба этим противным рыбьим жиром, посыпал солью и ел с удовольствием, потому что так надо.

Во всяком случае, обилие и дешевизна рыбьего жира многих спасла от рахита и кучи болезней. Дети, рожденные в те годы, оказались гораздо более здоровыми и жизнеспособными, чем те, которые рождались через поколение, в благополучные годы.

Ну а дедушка нашел для него прекрасное применение: в ведро с рыбьим жиром на ночь ставил кирзовые сапоги, потом тщательно просушивал, и гордился непромокаемостью сапог. А тот рыбий жир выливали свиньям. У нас их уже несколько. Правда, из сарая роют такие глубокие норы, что потом, пройдя, как по тайному ходу из крепости, вылезают на середине двора, а одна подрыла даже под забор и вылезла на улице.

Правда, там ей не понравилось, вернулась. А подземный ход мы завалили.

Вся посуда из глины. Особенно красиво выглядят на полке глиняные кувшины, привычно называемые глечиками. А вот готовят еду в чугунах, так называются эти... как их назвать попонятнее, кастрюли. Только не из тонкого листа железа, а из толстого чугуна, очень хрупкого, так что ронять нельзя не только на пол. Даже на стол такую тяжеленную «кастрюлю» опускают медленно и осторожно, может расколоться.

Ставят в печь такие «чугунки» и вынимают на длинной рогатине, называемой ухватом. Оба рога ухватывают тяжелый чугунок за бока, он кверху для этой цели расширяется, дабы рога не соскользнули, и хозяйка, покраснев от натуги, подобно сталевару, озаренному таким же красным огнем печи, опускает чугунок на горящие угли.

Борщ и каша в таких чугунках, как и вообще любая еда, остается горячей очень долго, толстые стенки держат жар надежно, отдают неохотно, скупо.

Дедушка возвращается с завода, где работает столяром, а бабушка тут же вынимает рогатиной чугунок и ставит на середину стола.

Дедушка моется, переодевается, даже успевает что-то сделать по дому, а когда садится за стол и поднимает тяжелую чугунную крышку, в чугунке борщ все еще кипит.

Сегодня снова открыли новое племя людоедов в Африке и два больших племени первобытных людей в Южной Америке. Вообще Африку только начинают открывать, большинство племен впервые видят белых людей, принимают их за богов, падают ниц и умоляют не обрушивать на них небо.

Все негры делятся на бушменов и готтентотов, а еще есть отдельное племя пигмеев. Это совсем карликовые люди, про них пока ничего не известно, они не только малорослые, но и очень мелкие, пролезают в любую дыру, от всех остальных прячутся.

Вся Африка поделена между Англией, Францией, Испанией и Португалией. Вроде бы еще Бельгия имеет там какие-то земли, но мало. В основном же Африка принадлежит Англии. Из всех стран только Германия не имеет там колоний, из-за чего, говорят, и началась первая мировая война. Германия тоже хотела колоний, а ей не дали. А ту территорию, которую немцы просто заселили и называли Трансваалем, англичане в кровавой и долгой англо-бурской войне завоевали, залив Трансвааль кровью и называли Южной Африкой. Это, как нам объяснили, немцы никогда не простят Англии и постараются отомстить.

Подсолнечное масло, уксус и прочее жидкое продается в банках с толстыми крышками на проволочных пружинах. На бутылках сверху такое сооружение из толстой стальной проволоки с металлическим рычажком: с усилием оттягиваешь, щелчок, бутылка открыта, а зажатая в тисках толстой проволоки пробка замирает горизонтальном положении вблизи

горлышка. С таким же усилием тянешь рычаг в другую сторону: щелчок, пробка входит в горлышко бутылки.

Понятно, такие бутылки продавались только с хорошими пробками, их не выбрасывали, берегли, используя для хранения подсолнечного масла и всякого разного, что можно налить или насыпать в бутылку тонкой струйкой.

В печати новое слово: НТР. Означает «научно-техническая революция», то есть наука, которая была уделом чудаков-монахов в монастырях, а потом таких же чудаков-ученых, обязательно рассеянных профессоров, что ищут свои очки, которые у них на лбу, так вот теперь эта научно-техническая революция начинает выходить за стены научных монастырей и пробовать входить в жизнь простых людей: что, мол, получится?

И получится ли?

Конечно, не сама наука начинает пробовать входить в массы, а как бы ее плоды. Раньше все плоды науки создавались только для закрытых непосвященным монастырей, то есть научно-исследовательских институтов, а теперь с удивлением и каким-то испугом заговорили о переходе в новое качество: плоды науки будут воплощаться не только в создании шагающих экскаваторов, но и в упрощении образцов холодильных установок, чтобы те стали более доступными... по крайней мере там, на Западе.

Заговорили о таком чуде, как дальновизоры. Мол, можно будет сидеть дома и не только слушать по радио концерты, но и... видеть поющих или танцующих. И не в тех же самых научно-исследовательских институтах, а прямо в домах, где живут люди. Мы не понимали, как это, в печати рассказывалось, что уже началось строительство первой станции, которая начнет такие передачи. И что уже строится завод, на котором будут производиться такие вот дальновизоры, то есть радиоприемники с экранами, где будет появляться изображение.

А пока, как первые плоды этой загадочной пока что НТР, в продажу поступили какие-то странные бутылки. Нет, бутылки как бутылки, а вот пробки... Их даже пробками не назовешь. У каждой хозяйки в ящике стола хранится множество пробок: целых, чуть подпорченных, очень толстых и поуже, а если пробок, бывает такое, не хватает, то вырываешь лист из старой книги или рвешь клочок из газеты, сворачиваешь и затыкаешь горлышко. Это тоже пробка, хоть и не из самой пробки, то есть – не из пробкового дерева. В этом случае герметичность, конечно, не идеальная, бутылку с такой пробкой набок не положишь, но все-таки пробка: затыкает, не дает пролезть мухам. Муравьи, конечно, пролезут везде.

Еще пробки хороши из огрызка кукурузы, можно также выстругать из дерева, в этом случае делаешь ее клинышком, ибо не сожмешь, как пробковую или бумажную.

А эти новые бутылки оказались закупорены просто жестяными колпачками. От большой толстой пробки, что затыкает почти до середины горлышка, остались только спрессованные крошки. Все рассматривали такие бутылки с недоверием, долго отказывались покупать, а когда кто-то все-таки покупал, точно так же складывал в ящик стола эти жестяные крышечки. Правда, надевать их заново удавалось плохо, жестянка при откупоривании деформировалась, но если сдавить плоскогубцами, поправить, проверить, где из горлышка проходит воздух, снова сдавить, то все-таки можно пользоваться заново. Хотя, конечно, эта дешевка – не старая добрая пробка.

Потом пробковую крошку вообще заменили какой-то синтетикой, белесой мягкой резинкой, из-за чего бутылки приобрели неприятный марсианский вид. Привычные пробки остались только в шампанском и дорогих винах.

А затем, когда уж совсем-совсем привыкли, а этих жестяных колпачков скопилось в ящиках видимо-невидимо, их начали выбрасывать. С сожалением. Ведь раньше никогда ничего не выбрасывали, разве что совсем уж пришедшее в негодность, но – выбрасывали.

Наверное, вот с этих жестяных колпачков и начались первые шаги Великого Выбрасывания вещей вполне годных еще, но как бы отслуживших свой короткий век службы. Заранее запланированный быть коротким.

Даже – одноразовым.

Книжкам мой дедушка верит безоговорочно. У него один неоспоримый аргумент: «Но так написано в Книге!» Я по своей обязательной бунтарности чувствовал, что здесь что-то не то, хотя к книжкам тоже питаю священный трепет. Только потом, уже став человеком, который сам пишет книжки, понял, что у деда это от почтения к одной единственной Книге, куда собраны мудрые мысли прошлых эпох, назидательные примеры, поучения, высказывания.

Конечно, он обязан был понимать, что те книги, которые писались после и пишутся в его дни, это не такие книги, намного проще, но все равно отблеск той величайшей Книги падает и на них. Тем более, что писатели остаются таинственным привилегированным народом: живут на особых «правительственных» дачах, собираются в особых Домах Творчества, куда всем остальным доступ запрещен, у них красные книжечки, с которыми могут зайти в любое учреждение, а к ним даже в их городские Дома Литературы – не дозволено никому. Постоянно распространяются слухи, что они – особые люди: к ним нечто нисходит Свыше, и в таком состоянии творят такое, на что потом, когда божественный экстаз уходит, смотрят с удивлением и непониманием. Сотворение текста книг преподается как божественный акт, как быстрая и торопливая запись, выполненная писателем, уstraшенным и подавленным величием заговорившего с ним Голоса, как изложение доступным языком желаний Бога. И всегда подчеркивается, что писателя нельзя винить за то, что написал: он просто передал, как умел и как понял, слова Господа Бога.

Книги в школьной библиотеке, двух районных и одной областной, куда удалось записаться, выбираю в первую очередь потрепанные, это служит гарантией качества. Если книгу читают, значит, интересная.

Вообще во всех библиотечных книгах множество подчеркнутых мест. У большинства читателей заведены тетрадочки, как у многих дневники, куда принято записывать, как провел день, с кем встречался, что говорили, какие планы. В книгах постоянно нахожу подчеркнутое: предыдущий читатель явно выписывал в тетрадку, учил, запоминал, как лозунги, доводы, оправдания, цели в жизни.

А дневники, куда записываются события дня, рекомендовалось давать читать воспитателям и классным руководителям. Те могут что-то подсказать интересное, важное, нужное. Правда, я не помню, чтобы хоть кто-то так делал.

Я сам попытался тоже вести дневник, но забросил с первой же недели. Показалось нелепым записывать то, что произошло: зачем? Да и давать кому-то читать, бр-р-р-р...

Писатели во времена моего детства все еще выполняли те же функции, что и жрецы в Древнем Египте, Риме и всех древних империях, и отношение к ним у «богобоязненного русского народа» остается таким же боязливо-почтительным, а в их словах всегда ищут откровения и поучения.

У каждого на Журавлевке, как и на Тюринке, Рашкине, Алексеевке или любой другой окраине, где живут в нормальных частных домах, в глубине двора, подальше от посторонних глаз и, конечно, самого дома, расположены выгребные ямы. Кто-то присаживается на краю и опорожняет кишечник, но большинство ходят дома в отведенном уголке коридора на ведра, а потом относят к выгребной яме и выливают содержимое в общее зеленовато-желтое месиво, что вскоре покрывается коричневатой корочкой, лопающейся, ноздреватой, похожей на горбушку хлеба.

Смрад от таких выгребных ям жуткий. Над ними всегда роится темное облако крупных зеленых мух, они мечутся с металлическим звоном, сталкиваются, разлетаются, выделявая в воздухе причудливые петли, снова взлетают, блестя синими и зелеными крыльями.

Такая выгребная яма была у нашего соседа, как и дальше, дальше у всех соседей по всей улице. У нас же такая выгребная существовала, только когда жили во флигеле, а на новом месте, где мы построили дом, сразу же сделали все по высшему разряду удобств: дедушка рано научил меня, как правильно выкопать глубокую яму с отвесными стенками, строго четырехугольную, на высоту сперва своего роста, это легко, а потом уже надо долбить и долбить землю, это становится труднее, почему-то твердая, как камень, красноватого цвета, похожая на спрессованную глину, все сложнее выбрасывать ее наверх, лопата с короткой ручкой постоянно задевает стенки, под ноги падают комья черной земли, что портит чистоту ямы.

Туалетную дедушка сделал сам, а потом уже, когда яма наполнялась, надо только перетаскивать эту будку к новой свежевыкопанной яме и располагать над нею. Обычно это выпадало мне, я подкладывал круглые бревнышки, приподнимал край деревянного сооружения, накатывал, а потом толкал, стараясь не упасть в эту яму... Сколько раз потом во сне падал!

А затем снова и снова в саду, в самом дальнем углу, выкапывается квадратная яма примерно метр на метр. Или полтора на полтора. Я сам этих ям выкопал десятки, знаю как снимается сперва слой чернозема, потом идет белый песок, а затем начинается красноватый слой, который почти не берет даже самая острая лопата, разве что откалываешь по сантиметру, углубляясь все дальше и дальше.

А рыть надо как можно глубже, от этого зависит срок службы этой ямы. Чем глубже, тем меньше этих ям рыть. Каждая служит пять-шесть лет. Заканчиваешь рыть такую яму, тогда, когда выбрасывать землю лопатой уже не удастся. А потом начинается все сначала: выкапываешь, перетаскиваешь, водружаешь над новой ямой.

В этом дощатом сооружении, называемом туалетом, в полу круглая дыра прямо над ямой. В стене – гвоздь с нанизанными обрывками газет и страниц из книг. Для исполнения ритуала дефекации нужно присесть над ямой на корточках, руки в это время снимают с гвоздя бумагу и мнут в ладонях. Мять обязательно, страницы книг всегда жесткие, прямые, как дощечки.

Когда дощатое сооружение перетаскивал на другое место и усаживал там, старую яму поспешно забрасывал землей. Через несколько лет, как говорил дедушка, там уже будет просто земля, простая земля. На наш век этого участка хватит, чтобы копать эти ямы и перетаскивать будочку, а тот, кто придет после нас, уже не будет знать, что роется по пояс в нашем окаменевшем... нет, превратившемся в простую землю дерьме.

Вся страна учится писать и произносить правильно новое слово, очень длинное и непонятное: «генералиссимус». Причем учителя нам всякий раз строго напоминают, что Чан Кайши – не настоящий генералиссимус, так как он командовал только китайской армией, а вот товарищ Сталин – настоящий, он кроме своей армии командовал еще и польской, это уже ранг генералиссимуса.

Но нам и без всяких доказательств было понятно, что, конечно же, товарищ Сталин – самый великий человек на свете. Ведь все концерты начинаются песней о Сталине, затем поется о Родине, третья песня всегда о Москве, а уже потом идут те песни, которые все слушают с удовольствием и которым даже подпевают.

Человек в своем развитии проходит, как я прочел намного позже, все стадии эволюции, то есть во внутриутробном бывает рыбой, ящерицей, лемуром, рождается уже человечком,

но потом проходит все стадии развития общества: первобытно-общинное, рабовладельческое, феодальное...

Я ничего этого не знал, но, глядя на проплывающие облака, вижу жуткие морды больших страшных зверей, воздушные крепости, а когда смотрю на дальние деревья, замечаю, как притворяются просто деревьями, хотя на самом деле вовсе не деревья, не деревья! В очертаниях дома напротив различаю исполинское нечеловеческое лицо: окна – глаза, дверь – рот, крыльцо – подбородок, да и сам дом – голова, а тело закопано под землей.

Ночью в моей комнате кто-то смотрит большими зелеными глазами, прикидываясь брошенным на спинку стула платьем, под окном скребется странное существо, по небу летают на метлах и в ступах всяких лохматые...

Я создавал свою мифологию, как создавали ее до меня десятки тысяч лет тому мои предки, только их долгий, мучительно долгий путь у меня повторялся, спрессовавшись до недель и месяцев.

Журавлевка – внизу, а город –верху, на горе, огромный и загадочный. Мама и бабушка с бабушкой заняты на работе с раннего утра до поздней ночи, я предоставлен сам себе, так что сперва научился убегать из детского садика, и, пока воспитатели обшаривали шестами дно реки – садик стоит на берегу, – я, отмахав пару километров, добегал до родного дома, там играл с козой, кроликами и даже поросятами.

А потом начал все чаще посматривать на возвышающиеся на горе многоэтажные дома и приближаться к ним опасливо и настороженно, словно влекомый мощным магнитом.

Город манил, огромный, таинственный и загадочный. И однажды я набрался смелости, поднялся на гору и вступил в странное царство, где дома в два-три этажа, улицы замощены булыжником, по главной улице ходит по рельсам трамвай. И что самое непривычное: людей много, очень много, даже слишком много...

Со второго или третьего визита в это странное колдовское место что-то кольнуло острое, неожиданное. От дерзкой мысли захватило дух, но я не поверил, отогнал, да она и сама ушла, а я долго шлялся по улице, на самом же деле по одному ее отростку, страшась заблудиться в этом огромном мире, а когда вернулся на Журавлевку, уже наступил вечер, но я долго не мог заснуть, очарованный огромностью мира.

В следующий раз воспользовался трамваем, съездил из конца в конец, как здорово! И вот на третий день... нет, это, скорее, на четвертый, снова пришла эта сумасшедшая, безумная и нелепая в своей отвратительности мысль: а что, если я вот сейчас не уступлю место старшему или плюну на пол, то стыдно будет только *сейчас*, а завтра в этом же трамвае будут сидеть *другие люди*! Они не будут знать, что я не уступил места старшему, плюнул на пол...

Голова закружилась от дерзновенности и нелепости этой мысли. И все же я потрясенно понимал, что так оно и есть на самом деле! Что так и будет. Это у нас на Журавлевке всяк на виду постоянно, все узнается, и, если я на Журавлевке что-то делаю нехорошее или просто не так, это запомнится, это навсегда останется со мной. И все будут знать, что я однажды сделал то-то и то-то, хотя этого делать было нельзя, а нужно только вот так и так...

Но... не здесь. Это – другой мир!

Как они живут, мелькнула дикая мысль. Это же... совсем нет правил, законов? Здесь так много людей, что просто не может быть «своих» и «чужих», здесь все никакие, ни кому не принадлежащие!..

Шок, холодная волна по телу, страх, как будто оказался один, совсем один на плоту среди океана, но постоял, приходя в себя, осмотрелся.

Дикий и невероятный мир, но другие как-то живут? Не я первый вошел в город. Здесь уже давно так. И хотя здесь свой мир, но я же вижу, уже сейчас вижу, вернее, чувствую спинным мозгом, как этот мир стремительно расширяется, побеждает, пробивает бреши в кланах

и племенах, разламывает, крушит родовые узы, а людей перемешивает, да так перемешивает, что размалывает даже самые мелкие обломки, оставляя каждого человека в одиночестве, и потом из таких вот одиноких создавая новый мир.

На Журавлевке можно увидеть, как с треском распахивается калитка, на улицу выскакивает с криком женщина, на ходу надевая платок, кричит во весь голос:

– Опять напился, скотина!.. да сколько ж можно тебя терпеть, кровопивец!

Или другая выскакивает с криком:

– Убивают!.. Убивают!..

Мужчины на улице настораживаются, смотрят в ту сторону, но за женщиной никто не выскакивает, а она, остановившись посреди улицы, начинает, уперши кулаки в крутые бока, обличать мужа, ни к кому конкретно не обращаясь, а именно ко всей улице.

Я уже, несмотря на возраст, знаю, что еще долго ее муж будет ходить опозоренный, пряча глаза и горбясь, теперь все *знают*, что он бьет жену. Все в мире.

И действительно, все это знают в мире, в котором он живет. Но как живут в том мире, который там, в городе?

Дед принес с работы странный замок, мы все долго не могли понять, как это чудо работает. К замку прилагается бумажка, дед и мама долго читали, морщили лбы. Я разобрался быстрее всех, взял долото и начал вырубывать в торце двери глубокую канавку. Дед, сомневаясь, все же отобрал инструмент, сделал все намного тщательнее. На другой стороне тоже вырубили углубление, привинтили шурупами стальную пластинку с квадратным отверстием над ямкой, в дверь вставили этот замок...

– Ну, – сказал дед, все еще недоверчиво, – посмотрим, как эта новая штука работает.

Он вставил ключ, повернул. Щелкнуло, высунулся стальной штырь. Повернул еще раз, щелкнуло снова, стальной брус выдвинулся еще.

Мама сказала с азартом:

– Крути взад!.. Все понятно, крути взад. Попробуй, как запирается.

– Получилось, – ахнула бабушка.

– Сплюнь, – мрачно посоветовал дедушка.

Она послушно поплевала через левое плечо на проклятого нечистого, что постоянно вредит и все портит.

Дед задвинул язычок замка вовнутрь, гордясь умением, притворил створку двери и, напрягшись в волнении, начал поворачивать ключ. Щелкнуло, засов вроде бы выдвинулся, но дальше двигаться не захотел. После некоторых усилий уже дед сообразил раньше других, что надо углубить ямку в дверном косяке.

После двух-трех примерок дверь запиралась без помех, открывал ее с легкостью как дед, так и бабушка, мама и даже я.

Дед покачивал головой, в глазах изумление.

– Какую хитрую штуку придумали, – говорил он пораженно. – И есть замок, и вроде бы его нет. Даже не видно издали, заперта дверь или нет. Да и не собьешь такой замок обухом. И когда дождь, воды не нальется.

– А зимой вода в нем не замерзнет!

– И ключ к такому замку не подберешь!

Дед в задумчивости рассматривал головку ключа с затейливыми бороздками.

– Да, второй такой изготовить очень не просто. Никто, думаю, и не возьмется подделывать ключи к таким замкам.

Бабушка всегда ходит с платком на голове, даже летом. Зимой – в теплом пуховом, летом – в разных косынках. Даже мама всегда носит платок, только бабушка завязывает концы под подбородком, а мама обычно кокетливо и задорно – наверху.

Волосы женщины носят либо заплетенными в косы, либо собранными в узлы, а чтобы эти массы не рассыпались, придуманы всякие шпильки, заколки, скрепки, гребни. Женщину, распустившую волосы, удавалось подсмотреть только украдкой, ибо это была уже «распущенная» женщина, от «распустившая волосы». Волосы распускать разрешалось только по подушке. Их мог видеть только один мужчина – муж.

Но вот по экранам пронесся, как свежий ветер, необычный фильм «Олеся» или «Колдунья», уже не помню. В нем юная Марина Влади сыграла свою первую роль – юной лесной колдуньи. Лесной ведьмочке волосы, эссо, нельзя укладывать в сложные прически, нарушится образ, так что весь фильм Марина Влади бегала по лесу с распущенными волосами. Это вызвало шок, а нас, подростков, привело в такой восторг, что со дня просмотра фильма девчонки вызывающе решались выходить на улицу с распущенными волосами, а с легкой руки молодых родителей с того дня в России появилось странное имя «Марина». Марин стало столько, что в детских садах их поневоле называли по фамилиям.

Правда, в школу так не разрешалось, да и в учреждения, потому волосы сперва начали подрезать коротко, находя некий компромисс между новой моралью и старыми устоями. Потом начали эту распущенность маскировать всяческими прическами, ведь волосы в прическе вроде бы как уже и не открытые, они прикрыты укладкой, лаком, строго приданной формой, то есть как бы в одежде.

И хотя мы понимали, что волосы остаются открытыми, а прическа – все равно что солнечный загар или татуировка, вроде бы тоже не голая кожа, чем-то да укрыта, но пока что голым никто выходить не решается, а вот с голыми волосами... ура, старые устои ломаем, ломаем, ломаем!

Словом, не то чтобы вошел в моду, но возродился образ стриженной комиссарши. Женщины без особого стыда начали делать короткие прически, так за ними удобнее ухаживать, да и нет особого протеста со стороны родителей и окружающих, когда выходишь с непокрытой головой: короткие волосы как бы уже и не волосы, ничего «распущенного».

Копаем подвал. Стены обложили кирпичом, но снизу все-таки проступают грунтовые воды. В дни половодий вода поднимается, заливая бочки с квашеной капустой. В подвалах хранится картошка. Доставать надо сперва ту, что прорастает, покрывается «глазками».

В подвале всегда темно, таинственно, а тени от свечи прыгают по стенам, пугают.

Но за подвалом нужен глаз да глаз, без него не просто трудно жить, но часто вообще не выжить. И дело не только в том, что в подвалах прятались во время бомбежек и наступлений-отступлений немецких и красных войск, а в том, что только в подвале можно хранить зимой картошку, а летом – молоко, сметану, сливки, масло.

Чтобы уберечь молоко от быстрого скисания, его ставили в бутылке или в банке в кастрюлю с холодной водой, сверху накрывали мокрой тряпкой, концы которой опускали в воду. Так можно было хранить сметану, творог, масло. Были свои ухищрения, чтобы хранить яблоки, а вот груши приходилось съедать сразу: их хранить невозможно, зато яблоки некоторые умельцы ухитрялись сохранить почти до Нового года. Правда, приходилось отбирать только самые зимостойкие сорта, так называемые «дубовые», несладкие и очень твердые, причем – без единого пятнышка. Каждое яблоко обливали воском, а затем еще и заворачивали плотно в бумагу.

Но я таких не видел, слишком трудоемкое дело, просто в народе время от времени кто-то говорил, что так вроде бы можно сохранять, но никто так не делал и даже не мог указать на того, кто так делает.

У большинства подвал вырыт просто во дворе, у нас же, как у людей трудолюбивых и старательных, – под домом. Слишком много случаев, когда чужие люди по ночам лазают по подвалам, воруют все, что попадет под руку.

В подвале обычно живут большие страшные жабы. Не знаю, откуда они там берутся, но всякий раз находишь либо пару жаб, либо огромную жабу с жабенятами. Мыши встречаются гораздо реже: Журавлевка у реки, подвал часто подтапливает, жабам нетрудно перебыть повышенную сырость и даже плеск воды, но мыши этого избегают.

Когда в подвале появляется вода, бабушка опускается по лесенке, сверху едва-едва заметен желтый огонек каганца, дедушка спускает ей на веревке ведро, и начинается бесконечное вычерпывание все подступающей и подступающей воды.

Мы с мамой, если это выходные, а в будни я сам, выносим ведра во двор и выливаем в яму. Конечно, эта же вода снова просочится в подвал, но на это у нее уйдет сутки-двое, а за это время, может быть, вода перестанет подниматься.

Однажды дедушка принес купленную в магазине металлическую лопату. Рассматриваем как диво. Привыкли, что лопаты целиком деревянные, что их выстругиваем из доски сами. Я тоже выстругивал, однако сейчас, в отличие от деда, сразу сообразил, что железная лопата – ее потом почему-то стали называть заступом – намного удобнее уже тем, что металлический край намного тоньше, чем деревянный, его легче вогнать в землю. А если еще заточить края наждачным камнем, то такая лопата входит в землю, как нож в теплое сливочное масло!

На Журавлевке сразу три свадьбы: Чигиринские, Евлаховы и Ратники играют в один день. Вообще-то свадьбы можно только после яблочного Спаса, раньше нельзя, так что по осени здесь то в одном месте, то в другом вспыхивает гулянка.

Первыми вывесили на воротах простыню с пятном крови Евлаховы, а вот Ратники посадили гостей на телегу и гоняли вскачь по улицам, размахивая простыней, показывали всем кровавые пятна, горланили песни и угощали всех водкой.

Солиднее всех поступили Чигиринские: они тоже ездили по всем окрестным улицам, но простыней не размахивали, а укрепили ее на растопыренных шестах, так что ветер наддувал, как парус. В центре, как заходящее солнце, пламенеет большое пятно крови, доказывающее всем, что невеста была девственницей.

Мой дед похож на египетского фараона. Вообще все старики Журавлевки похожи на фараонов: те начинали строить для себя гробницы, едва всходили на троны, а наши старики годами и даже десятилетиями готовят себе гробы. Начинается с выбора дерева, потом снимают с себя мерку, а затем все соседи видят через низкие заборчики, как на стол – никогда на простые козлы! – водружается гроб, после чего старик начинает любовно и бережно строить, снимать стамесочкой, работать буравчиками, обивать красной материей, прикрепляя ее красивыми гвоздиками с широкими фигурными шляпками.

Обычно он с гордостью приглашал полюбоваться соседей, те осматривали, оценивали, сравнивали со своими. Иногда дед ложился в гроб и, сложив руки на груди, показывал, как ему будет удобно лежать в этой домовине.

На Журавлевке вперемешку живут хохлы и кацапы, но те и другие называют гроб домовиной, это понятнее, все-таки от слова «дом», чем чужое и недоброе слово «гроб».

Я довольно рано сообразил, что это старики как бы извиняются, что все еще живут, что их не отвезли на саночках в зимний лес и не оставили там, освобождая место в доме и сберегая скудные остатки хлеба.

Вот мой гроб, заявляют молча старики, вам не придется тратиться, заказывать его у других. Как только умру, вам нужно только положить меня вот сюда, видите, я уже ложился, все очень просто, как раз по мне, а потом отнести на кладбище и закопать. Только и делов.

А что хлеб все еще ем, но ведь руки на себя ж не наложишь – грешно! Стараюсь быть полезным в доме, чтобы не зря хлеб есть. Да и ем совсем мало, одежду донашиваю старую...

Потом, когда большинство переселилось в «город» и стали жить в городских квартирах, где громоздкий гроб держать негде, это вылилось в то, что старики из-за чувства вины перед детьми, что все еще живут, стараются накопить «гробовые», чтобы детям потом не тратиться, не отрывать у своих детей копейку на похороны.

По ту сторону дощатого забора время от времени раздаются печальные звуки духового оркестра, бухающие удары больших барабанов, металлический звон медных тарелок.

Бабушка всякий раз бросает любую работу и выскакивает на улицу: кого на этот раз? Покойника обычно несут в оббитом красной материей гробу на плечах крепкие мужчины, за ними траурная процессия движется медленно, печально, у некоторых в руках венки.

Когда умирал кто-нибудь из знатных, за телегой с умершим обычно несли на подушечках ордена и медали. Каждый орден – на отдельной подушечке.

Чуть позже пришел обычай покойника везти на телеге или подводе, а еще позже, уже при Хрущеве, телеги заменили машинами.

Наконец пришла полная реформа, вышел указ, предписывающий не носить покойника на руках от дома до самого кладбища, не возить медленно по улицам в сопровождении вышагивающего сзади духового оркестра, а прямо у дома погрузить всех сопровождающих в автобус, отвезти на кладбище, а уж там играть сколько влезет.

Многие возмущались, что церемонию прощания сократили до безобразия, это же неуважение к покойному, пренебрежение даже, Господь такое не простит, другие доказывали, что похороны – дело личное, нечего об этом объявлять всему городу. Кого пригласили, тот придет.

Рассматриваю детское фото, где я возвращаюсь с праздничной демонстрации в честь Великого Октября. Пальто мое в латках, бурки – в латках. Если снять пальто, то обнаружим, что в латках и штанишки, и рубашка.

Вообще трудно найти подростка, у которого одежда без латок, не говоря уже о том, что заштопана и перештопана во многих местах. Чинить одежду я научился, как и все дети, очень рано. Сперва учат сшивать простые разрывы «внахлест», это когда края сдвигаются вплотную, а их сшиваешь так, что образуется ясный шов. Чтобы он был менее заметен, одежда выворачивается наизнанку, тогда рубец внутри, а снаружи таким образом будет малозаметно.

Зашивать приходится потому, что любую одежду носят до полного износа. То есть пока ткань не начинает от ветхости расползаться, как будто тает на солнце льдинка. Первая степень износа, – это когда ткань еще цела, но начинает «светиться», значит, если через нее взглянуть на свет, то ясно видно протертые места: «хоть газету читай».

Вторая степень – когда появляются мелкие дыры на месте протертостей. Иногда их удавалось покрывать штопкой, но чаще прибегаем к хирургии: накладываем латку из материала, по возможности из того же и такого же цвета. Постепенно одежда покрывается множеством таких латок. По количеству латок судят о благосостоянии человека и его семьи.

Выражение «латка на латке» определяет человека как бедного, а вот таких, у кого вся одежда была бы без латок, практически нет. Разве что удавалось кому-то одновременно купить и рубашку, и брюки, и пиджак, и ботинки. Но чаще всего таких богачей не попадалось, так что если у кого рубашка новенькая, то зато брюки как раз «латка на латке».

Наша школа на стыке двух миров: Журавлевки, состоящей из нормальных домов, и города. Большинство в школе журавлевских, но треть – «городских». Они на нас смотрят настороженно, как на диких и опасных животных, а мы на них, – как на последних недобитых барчуков.

Городские все, как один, бледные, словно личинки майских жуков, чистенькие, боязливые. Мой друг Толька Худяков подружился с одной девочкой из городских, зовут ее Лия, и она, ошарашенная благосклонностью страшного журавлевца, пригласила нас в кино. Но не здесь, в нашу журавлевскую кинушку, устроенную в свободном помещении пожарного депо, а настоящее, где все здание – целый дом! – построили специально для показа в нем кино.

Мы отправились в город, старались не показывать, что все еще ошеломлены множеством людей, проезжающими по дороге автомашинами и даже пронесшимся трамваем.

А потом, после кино, Лия пригласила зайти к ней домой, надо кое-что взять, а потом пойдем дальше гулять.

– Мы подождем тебя здесь, – предложил я.

– Нет-нет, – возразила она живо, – это неудобно!

– Почему?

– Ну как, я буду собираться, а вы стоите на улице.

– Да ничего...

– Нет-нет, обязательно зайдите! Вы слышите, обязательно!

Она тащила нас, упирающихся, подталкивала, и мы наконец дали себя втолкнуть в подъезд, а затем уже без борьбы поднялись по лестнице на третий этаж. Лия позвонила, дверь открыла женщина со строгим лицом, в темном платье до полу.

– Лия?... А это кто?

– Мои одноклассники, – объяснила она. – Толя и Юра. Я про них уже говорила.

– А, – произнесла женщина, – ну, заходите...

Она отступила в комнату, Лия подтолкнула нас и прошептала живо:

– Мы на минутку. Я только захвачу кое-что.

– Хорошо, – произнесла женщина строго.

Она оглядела нас внимательно, из комнаты вышел мужчина, осмотрел нас, подмигнул, и они с женщиной удалились. Мы робко стояли в прихожей, Лия исчезла, слышно было, как шебуршилась, что-то напевала. Толя быстрее меня отошел от шока, задрал голову и с благоговением рассматривал высокий потолок, настоящую люстру, картины на стенах.

– Здорово, – прошептал он. – Наверное, буржуи...

– Буржуев не осталось, – объяснил я тоже шепотом.

– Откуда же такое?

– Не знаю...

Из прихожей видно три двери, одна близко, две подальше, наконец из одной вышла Лия, свеженькая, с портфелем в руке. Посмотрела на обоих внимательно, вдруг покраснела, сказала торопливо:

– Подождите минутку...

Она исчезла за ближайшей дверью. После паузы мы услышали какой-то странный шум, словно полилась вода, целый водопад, потом стихло, снова шум льющейся воды, теперь уже тонким ручейком. Когда стихло, дверь открылась, вышла Лия, освеженная, с каплями воды на ресницах.

– Вам тоже, – сказала она деловито, – нужно зайти сюда. А то мы гуляли уже давно...

– А что там? – спросил я.

Она улыбнулась.

– Зайди, увидишь.

– Не хочу, – ответил я. – Ты взяла все? Пойдем.

Она покачала головой.

– Нет, на всякий случай зайди. Ну чего ты... Ладно, Толя, зайди ты!

Толя помялся, но Лия решительно взяла его за плечо, раскрыла дверь, втолкала и закрыла за ним дверь. К своему изумлению, я услышал, как там после паузы тихо щелкнул засов.

Толя вышел через несколько минут тоже освеженный, повеселевший. Подмигнул мне и сказал настойчиво:

– Обязательно, понял? Обязательно зайди.

– Да чего...

– Зайди!

Они раскрыли дверь и впихнули меня, только тогда я сообразил, что это. Добрых минуты две стоял, как громом пораженный, потом повернулся и, стараясь делать это как можно тише, сдвинул язычок щеколды.

Унитаз белый, чистый, фарфоровый, я взобрался на него с трудом и балансировал, стоя на узких краях фарфорового сидалища. Кое-как присел, страшась, что ступни соскользнут, нога с силой ударит в лужицу воды там, на фарфоровом днище. Это потом я узнал, что вот на это место, куда я залез с ногами, городские садятся задницами, дикари, в то время как культурные люди избегают всякого контакта с... гм... любой из частей сральни.

Не видно гвоздя с наколотыми ключьями газеты или страницами книг, зато справа на стене странный рулончик с бумагой, похожей на промокательную.

Я старался дефекалить как можно беззвучнее, но тишина стоит оглушающая, и струя полилась в унитаз с грохотом Ниагарского водопада. Я поспешно направил струю на стенку, так тише, но зато в озерке воды булькнуло так, что эти за дверью услышат, точно услышат!

Хотя бы ушли на кухню, умолял я. Хотя бы... Лия ж хотела напоить нас водой, а то и крем-содой. Вот пусть бы с Толькой и ушли на кухню...

Стыдясь сделать лишнее движение, я затаился, чувствуя, как горячая кровь бросилась в лицо. Вдруг сверху глухо загрохотало, послышался мощный шум льющейся воды. Загремело, зашумело, потом все стихло, и только тогда я понял, что это кто-то этажом выше прямо над моей головой опорожнился тоже, дернул за цепочку, и вода с грохотом смыла, унесла по трубам вниз, как раз мимо меня, за моей спиной, а тот человек сейчас стоит над моей головой, раскорячившись, и, подтягивая пузо, застегивает штаны...

Не попадая дрожащими руками в петли, я ловил пуговицы, застегивался, проскользнул на цыпочках к раковине, долго мыл руки, а в зеркало передо мной отражалось растерянное лицо с красными, как раскаленные подковы, ушами.

Как они живут здесь, мелькнула суматошная мысль. Как они могут жить в таком... таком?

Вышел, Лия и Толя, к огромному облегчению, не стоят под дверью, а пьют крем-соду на кухне. Лия налила и мне стакан шипучего напитка, я сделал первый глоток, и в это время снова зашумело, загремело, загрохотало. Рядом по широкой трубе, как понимаю, пронеслась еще одна порция дерьма с этажа выше, ведь кухня и туалет рядом, между ними эта широкая труба, в которую собирается дерьмо из всех квартир, и потом проносится по этажам.

Там, на Журавлевке, это таинство. Никто не знает, куда человек пошел, когда выходит из дому и по тропке между деревьями идет по саду, а затем скрывается за яблонями и вишнями, ведь этот дощатый домик даже не видно от дома или от центральной части двора. Туалет всегда-всегда располагают в самой-самой дальней части двора, обязательно отгораживают от дома деревьями, а если можно, то и сараями.

Как они живут в этом городе? Как они вообще живут в городах...

Когда мы втроем снова вышли на улицу, я все еще смутенно думал, что в городских квартирах живут то ли очень испорченные, то ли... не знаю, какие-то совсем другие люди, чем мы.

Как ходить в туалет, когда пусть даже не услышат, но все равно **увидят**, куда я пошел!!!

И как жить, зная, что этажом выше еще семья? Как ходить по квартире, зная, что кто-то над моей головой садится на стульчик туалета? Кто-то за стеной тоже... И весь дом заполнен потным сопящим народом. Все, как по команде, поднимаются утром, одинаково едят, уходят, вечером приходят, едят, испражняются...

В трамвае обязателен кондуктор, который продает билеты за проезд. За одну остановку – пятьдесят копеек копеек, за три – семьдесят, а за рубль можно ехать до конца. Он следит, чтобы все зашли, потом закрывает двери и дергает за веревочку, давая сигнал водителю, что можно ехать.

Иногда, когда находится в середине вагона, «обилечивая» пассажиров, то просит ближайших к веревочке дернуть. Я никогда не садился, не люблю вскакивать, уступая место, потому дергать часто приходилось мне.

Впрочем, кому из нас не нравилось это делать?

В четвертом классе – выпускные экзамены. По всем дисциплинам, так как четвертый класс – выпускной. С пятого уже начинается средняя школа.

Потом была реформа школьного образования, что передвинула выпускной класс с пятого до седьмого. Она застала меня в пятом. Это прежде всего значило, что отменяются изнурительные экзамены по всем предметам, остаются только по базовым, а экзамен по всем-всем предметам будет только в седьмом. Окончивший семь классов считается окончившим среднюю школу.

На радостях ходили на ушах, чокались чернильницами и делали вид, что пьем чернила. К тому времени благосостояние народного образования достигло такого уровня, что чернильницы-невыливайки стоят на каждой парте, отпала необходимость носить их с собой в полотняных мешочках, попросту – старых отцовских кисетах, которые больше всего подходили для такой цели.

Правда, школьные чернильницы заправлять чернилами приходилось самим: учителям и так хватает работы, но носить в портфеле пузырек с чернилами намного проще, чем чернильницу: пузырек надежно закрывается крышечкой с резьбой, всегда можно шарахнуть кого-то портфелем по голове – чернила не разольются.

Пишем стальными перьями, что девочкам позволяет блистать на уроках каллиграфии, каждую сторону любой буквы они особенно старательно вырисовывают жирной линией, полужирной и «волосистой».

Я занимался плохо, предпочитая чиночкой вырезать на деревянной ручке шахматных коней, грифонов, львов, сказочных зверей.

Уроки каллиграфии отмерли раньше, чем пришли автоматические ручки, которые вообще сделали любую каллиграфию невозможной.

В магазинах и в аптеках рядом с коробочками зубного порошка появились и странные такие трубочки, на которых написано «Зубная паста».

Смешно, паста. Да еще и цена, подумать только, рубль за тюбик! А большая круглая коробочка с зубным порошком – шесть копеек. Понятно же, что порошком чистить – полезнее. Об этом и статьи в медицинских журналах. Правда, зубной порошок разводят в воде и пьют наркоманы, но не переходить же из-за этого на зубную пасту?

Стены красили мелом, разведенным в воде, а потом, когда стали жить роскошно и богато, пришла мода украшать стены рисунком. Для этого на базаре продавались трафареты с вырезанными фигурками зайчиков, птичек, лебедей, цветов, а также просто самые разные узоры.

Я сам вырезал такие трафареты из картонок, не удовлетворившись существующими, и наносил через них рисунки на стены, не прибегая к услугам трафаретчиков.

А потом, много-много лет спустя, откликаясь на нужды простого народа, который не в состоянии следить за собой, и уже в угоду пьяным, были изобретены так называемые обои. Страшно дорогие, они дико развращали человека, позволяя расслабляться до такой степени, что можно было позволить себе задеть рукавом или плечом стену, даже прислониться, не страшась вымазаться мелом и потом услышать крики на улице: «Дяденька, у вас вся спина сзади!»

В аптеках появилась странная новинка: прежние порошки начали выпускать в таких приплюснутых кружочках, называемых таблетками. Нет, порошки тоже продаются, но теперь есть и таблетки, этих таблеток становится все больше. Поговаривают, что порошки и микстуры вообще уступят место этим новинкам.

Хотя на самом деле они действительно удобнее: проглатываешь целиком, поспешно запивая водой, и не чувствуешь привычной горечи порошка во рту. Или микстуры, что еще хуже.

Все заполнено Гайдаром. Его вписывают во всех библиотеках, а я записан и беру книги сразу в трех, знаю, изучают в школе, показывают в кино, а раз в неделю водят всем классом в театр, где идет «Судьба барабанщика», «Школа», «РВС» или «Тимур и его команда».

Никто и до сих пор не понимает, какой заряд эти книги несли и почему их тиражи побивали наверняка, тиражи Библии! «Судьба барабанщика» – это о том, как пионер поймал иностранного шпиона, это призыв к бдительности и доносительству всех на вся, написана в начале тех страшных лет, когда начались массовые чистки, расстрелы, когда уничтожена была старая профессорская элита, военная и научная.

Это обоснование и оправдание тех страшных чисток, после той «Судьбы барабанщика» все начинали видеть в каждом незнакомом человеке иностранного шпиона, а друг в друге – предателя Родины. Это призыв к такому доносительству, что Павлик Морозов в мире Гайдара покажется невинным голубком!

А самая популярная книга тех лет, «Тимур и его команда», повествует о том, как пионеры помогают тем семьям, чьи дети в Красной Армии, стерегут концентрационные лагеря, где умирают всякие там солженицины и прочее интеллигентское отребье, наследие старых времен...

Нет-нет, никто из тимуровцев не помогает тем, кто невинно посажен. При Советской власти невинно посаженных нет, посадили – виновен! Это все враги, отребье, а герои те, кто уничтожает это отребье...

Наглотавшись Гайдара так, что из ушей лез, я судорожно выискивал книги Фенимора Купера, Вальтер Скотта, Майна Рида, Сабатини и всех-всех, кого удавалось «достать». Увы, на все эти книги очередь растягивалась на месяцы и месяцы.

Ненавижу калоши, но все ходят в калошах, а снимают, только переступив порог. Сперва долго очищают грязь, скобля подошвами о вделанную у порога ребром вверх металлическую пластинку, а потом входят в дом и уже там снимают калоши. Ненавижу эти калоши и мечтаю, что когда-нибудь они исчезнут! И люди будут ходить без них.

Ненавижу кальсоны, их обязательно надевать под брюки. Пододевать, как говорит бабушка. Кальсоны – из белого грубого полотна, обязательно на ладонь короче, чем брюки, чтобы не выглядывали из-под них, и еще там внизу пришиты две веревочки, чтобы плотно завязать кальсоны. Это чтобы не выпускать теплый воздух. Иногда завязки распускались, и видно бывало на улице, как идет взрослый человек, а из-под темных брюк выглядывают, а то и волочатся по земле белые полосы плотной материи.

Мне не холодно, во всяком случае не настолько, чтобы совсем уж околеть, лучше перетерпеть холод, но и в мороз ходить только в одних брюках, чем носить эти отвратительные кальсоны.

Еще ненавижу пиджаки с толстыми накладными плечами, и вообще с этими дурацкими подкладками, из которых лезет конский волос, прокалывая тонкую ткань. Ненавижу обязательность маек, которые необходимо надевать под рубашки. Не понимаю, почему нельзя надеть рубашку сразу на голое тело, почему?

Бабушка говорит просто: нельзя, не принято, нехорошо, мама пыталась объяснить, что с майкой красивее, но я уже знаю, что майка – это нижнее белье, никто не должен видеть твоего нижнего белья, это неприлично, очень неприлично. А я люблю расстегивать рубашку чуть ли не до пояса, но даже если расстегиваю на одну-две пуговицы, краешек майки все равно всем видно. Ненавижу застегивать рубашку на все пуговицы, это душит мою свободу и независимость, ненавижу майки и мечтаю, чтобы они сгнули, чтобы их носили только те, кто хочет, чтобы ушла обязаловка!

Мама так и работает на ткацкой фабрике по две смены, а на руках бабушки я и все, что в хозяйстве: куры, гуси, поросята, козы, кролики. Сегодня заставила тщательно умыться, намочила и причесала торчащие волосы, заставила надеть чистенький костюмчик, «выходной», нацарапала на бумажке адрес.

– А что там? – спросил я тоскливо.

– Проводы в армию, – объяснила бабушка. – Петра забрали.

– А кто это?

– Сегодня увидишь.

– Ну, бабушка...

– Надо идти, – строго сказала она. – Это родня. Все придут. Так надо.

– Почему?

– Так надо, вот и все.

– А кто хоть он мне? – спросил я еще тоскливее.

– Долго рассказывать, иди. Найдешь дорогу?

– Это под горой, что ли?

– Да, они живут там.

– Далеко забрались...

Я вздохнул и отправился, примерное направление знаю, а улицу и дом найду.

«Под горой» – это еще один анклав наших тишковцев, нашли удобное место и застроили его такими же домиками, какие у них были в селе. А на горе уже город: каменные громады в несколько этажей, совсем другая жизнь.

Еще за два квартала до цели услышал игру на гармонии, песни, а когда подошел ближе – донесся топот плясок. Через щели в заборе видел, пока шел к калитке, танцующих, яркое мелькание одежек. Калитка тем не менее закрыта.

Я погрел щеколдой, отворили почти сразу, там на дозоре мальчишка на бревнышке. Уставился на меня любопытными глазами, прокричал:

– Дедушка, еще один!

Появился старик, придирчиво порасспрашивал, чей я, потом подобрел, поинтересовался, как здоровье моей бабушки Анны Сидоровны и дедушки, Ильи Порфирьевича, сам повел меня к группке молодежи.

– Петруша, – сказал он молодому парню, что веселился явно через силу, – это твой троюродный племянник по маме. Ксюша, возьми его под свое крыло, чтобы не потерялся, он и твой родственник, только через Кременевых. А ты, Юра, иди потанцуй, если хочешь... а нет, так можешь сразу к столу.

– Я посижу тут в сторонке, – пробормотал я.

Народ все подходил, многие друг друга еще не знают, но по такому случаю, как проводы одного из «своих», из своего рода в армию, собрались, знакомятся, выясняют, кто кому кем доводится. Это очень важно знать, кто кому кем, потому что свой – это свой, он поддерживает всегда и везде, в любом случае, тут уже неважно, прав ты или не прав, это потом выяснится на собственном суде рода, но перед чужими тебя защитят в любом случае, этот огромный род – весь мой, а от меня требуется только верность ему и защита его интересов и его членов. Еще и потому, что в их жилах течет и моя кровь.

Потом, когда гостей набрался огромный двор и сад, всех пригласили за столы. Их установили в саду под деревьями, столы сколотили именно для такого случая: простые длинные доски на неструганых ножках, за каждый стол усаживается человек двадцать-тридцать, а сколько этих столов было, я не видел, помню только, что много, уходят в глубь сада, а там дальше их закрывает ветками.

Так же точно я ходил по адресу, зажатому в кулаке, на свадьбы, крестины, именины. Пробовал увилить, но бабушка строго говорила, что так *надо*. Потом и сам понял, что посещение таких вот мероприятий – это не только удовольствие, но и обязанность. Общность рода надо поддерживать, иначе и крепкий род захиреет и распадется.

Увы, забегая вперед, скажу, что так и случилось со всеми могучими нашими кланами или тейпами, как сейчас бы сказали. В городе трудно жить и общаться только со «своими». Людей слишком много, начинаешь из массы выбирать для общения тех, с кем приятно или удобно, а таким человеком нередко оказывается «чужак», в то время как «свой» выглядит недостаточно привлекательным, и душа начинает сопротивляться неписаному закону, что я должен в любом случае отдавать предпочтение «своему».

В этот период ломки все чаще и громче повторялась фраза, что родня нам дается, а друзей можем выбирать сами, потому что друзья куда важнее и ценнее, чем осточертевшая родня. Мы, подростки, бравировали друг перед другом тем, что переставали ходить на общеклановые сборища, что все больше пренебрегали родственными узами и все больше ценили узы дружбы.

Мы сами, не сознавая того, усиленно ломали родовые связи, гордо доказывая друг другу, что предпочитаем общаться с друзьями, чем с родней. Ну ее к бесу эту родню, мы ее не выбирали, а вот друзей выбирать можем, потому что друзья нам дороги, а вся родня пусть хоть провалится...

Этим бравировали, это подчеркивали, в конце концов перестали общаться даже с довольно близкими родственниками, перестали ходить на разные обязательные ранее сборы, как-то: проводы в армию или свадьбы, зато весело проводили время с друзьями из других родов и племен.

Сейчас принято считать, что после смерти Сталина на его место пришел Хрущев. Наивные!.. Генсеком стал Маленков, но человек был настолько серый и осторожный, что достаточно быстро его сместили, а командный пост заняли сразу два человека: Булганин и Хрущев. Они так и появлялись всюду вместе. Их портреты печатали рядом, оба на абсо-

лютно одинаковой бумаге, одного размера. А когда посетили Индию, был выпущен фильм «Булганин и Хрущев в Индии».

В то время как раз начались бурные контакты с внешним миром. Первыми после трофейного немецкого допустили в СССР индийское кино, с триумфом прошел индийский фильм «Бродяга», после чего пошла такая шуточка: «Вы видели «Бродягу» в двух сериях?» Человек обычно отвечал, что видел, так как в СССР не было человека, который бы не смотрел этот фильм, а то и по несколько раз. После чего следовал второй вопрос: «...а двух бродяг в одной серии?», имея в виду фильм о пребывании этих партийных боссов в Индии.

Но, конечно, два паука в одной банке не уживутся, Хрущев сумел убрать напарника и правил единолично, нагоняя ужас на соратников по партии, на страну и правителей других стран неожиданными выходками.

Все, что делал Хрущев, получалось с перехлестом, все «чересчур». Помимо кукурузы на Крайнем Севере, которой ему все в глаза тычут, он все ухитрялся доводить до абсурда.

Помню, как сломав железный занавес, он начал устанавливать добросердечные отношения с другими странами. Не понимая, что при всем равноправии есть разница между Англией, США и Зимбабве, Андоррой и Монако, он побывал в каждой и подписал договоры о ненападении, и каждый указ под громовой звон литавр публиковался в центральной прессе на первых страницах. Но все мы видели, что договор о ненападении между Германией и СССР или Англией и СССР – это одно, но совсем другое, когда точно под такие же трубные звуки и шумиху публикуется договор о ненападении между СССР и Монако, между СССР и Сан-Марино.

Если Сталина боялись и безмерно уважали, то Хрущев сразу же, в отличие от Сталина, стал персонажем для анекдотов. Я сам сочинил о нем несколько, так необычно начиная карьеру юмориста. В стране не найти человека, который уважал бы Хрущева, хотя посвоему это был великий человек, и сделал он действительно много.

Беда его в том, что за все брался сам: художникам указывал, как и что рисовать, писателей учил писать, а ученых наставлял, какие именно тайны природы открывать, чтобы были полезны сельскому хозяйству.

К тому же у нас страна, как заметил один из старых классиков: «Россия, что не знает середины, у нас либо в рыло, либо ручку пожалуйте!»

С приходом Хрущева наступила новая революционная эпоха в строительном деле: удалось придумать технологию, когда дома строят не по кирпичику, а из готовых бетонных панелей, которые отливают на заводах!

Строительство резко ускорилося, да не просто ускорилося, а пошло по экспоненте. Началась массовая застройка из этих новых революционных домов, собранных, как детские игрушки, из готовых деталей бетонных блоков. Их называли хрущевками, сотни тысяч человек, жившие в бараках, а то и в землянках, получили благоустроенные квартиры. В горисполкомках начали создавать списки нуждающихся в жилой площади и, по мере строительства, давать бесплатно квартиры.

Вокруг городов начали возникать целые кварталы из новых домов. Все они, светлые, высокие, резко контрастировали с обычно серыми и неухоженными домами центральной части.

Вот только все они были настолько одинаковыми, что на эту тему сразу пошли шуточки, анекдоты, карикатуры, даже фильмы вроде запоздавшего «С легким паром», но нас тогда поразило прежде все то, что... исчезли улицы!

Нет, вообще-то не исчезли полностью, но в городе, как на Журавлевке, в селах, деревнях и везде-везде, дома стоят вплотную один к другому, так целый квартал, затем место для улицы, а затем снова дома вплотную один к другому, вплоть до следующей дороги.

А при этих новых домах удивительной конструкции, названной панельной, хотя со словом «панель» у нас уже были другие твердые ассоциации, нарушился строй: дома стали располагать кустовым методом, когда нужный номер мог оказаться не за предыдущим домом, а где-то в глубине двора!

И если в нормальном городе, который в конце концов условились называть «старым городом» или «центральной частью», нужно пройти квартал, прежде чем свернуть, ведь дома стоят вплотную, примыкая один к другому, то эти новые кварталы можно пройти насквозь в любом месте!

Когда был получен первый алюминий, из него сделали звездочку, королева Великобритании носила ее на парадном платье, как самое драгоценное украшение. Еще бы: золота и бриллиантов у всех, как грязи, а вот изделие из редчайшего алюминия... Читая эту историю в школе, мы смеялись, вспоминая свои алюминиевые кастрюльки и мисочки, из которых едим, но каким богатством нам самим казались кусочки плексигласа, а потом первые образцы неведомой пластмассы!

На уроках учим азбуку Морзе. Мы запоминали эти сочетания точек и тире, что означают буквы, соревновались, кто запомнит быстрее, а потом состязались в скорости передачи.

Еще учили способы передачи информации флажками, но этот метод считается устаревшим, так переговаривались моряки еще во времена Ушакова, Сенявина и Нахимова, а вот азбука Морзе – это самая что ни есть новинка: передают по радио!

С помощью азбуки Морзе можно переговариваться с людьми, которые сидят у своих радиоприемников в других странах!

А потом прошло всего десяток или чуть больше лет, и пришло сообщение, что создан аппарат, который сразу переводит точки-тире в буквы и тут же их печатает на телеграфной ленте. В «Новостях дня» перед каждым фильмом показывали, как из этого удивительного аппарата выползает длинная бумажная лента, а на ней – отчетливо видно! – не привычные точки и тире, а настоящие буквы. Аппарат так и называли «телетайп», мол, сам тайпит, то есть печатает, и установили в ТАСС.

Это была, естественно, революция в науке и технике. Сразу стало гораздо проще передавать информацию, а значит – количество этой информации мгновенно удесятерилось.

На Западе появился какой-то новый танец под название рок-н-ролл. Говорят, музыка там подобна реву авиационного мотора, вообще что-то ужасное, дикое, непристойное. Общественность Франции, Германии и других европейских стран гневно протестует против экспорта из США этой гнуснейшей дряни, что развращает молодежь. Прошли митинги, демонстрации, в американских посольствах бьют стекла. В «Новостях дня» по несколько раз в день показывают это возмущение европейцев, но заодно на несколько секунд мелькнет сценка, где эти самые придурки кривляются в рок-н-ролле. Естественно, мы вечером все стараемся повторить. Кто плохо запомнил, идет снова в кино, чтобы перед фильмом про знатных доярок успеть увидеть, как разлагается Запад.

В нашем мире, где разрешены только танго и фокстроты, хотя рекомендуются вообще-то вальсы, мы тайком на вечеринках танцуем буги-вуги. И вот – рок-н-ролл!

Что ж, запретный плод сладок.

Отведаем, несмотря на любые запреты.

В связи с поголовной амнистией после смерти Сталина, о целях которой ходят самые разные слухи, на свободу выпущены сотни тысяч, если не миллионы, уголовников. По стране пошла кровавая вакханалия. Если во времена Сталина невинная девушка могла любой город пройти ночью из конца в конец, и никто не посмеет обидеть, то теперь даже днем стало опасно появляться на улицах. Уголовники ходят по одиночке и бандами, грабят не только прохожих, но и магазины, поезда, фабрики, склады, нападают на отделения милиции и победно уходят с уже дымящимися пистолетами в руках.

На Журавлевке снова вспомнили про ставни. Каждый вечер жители выходят и закрывают окна этими толстыми досками, укрепленными широкими металлическими пластинами. С наступлением ночи во двор уже никто не выходит, старое ведро в коридоре снова заменило туалет. В ночи нередко слышится пороссячий визг, бляенье, истощное кудахтанье – это уголовные хозяева ночей забираются в сараи, погреба. Но журавлевцев никто защищать и не думает, здесь живут проклятые частники.

Уголовщина разлилась по стране, как весеннее половодье, затопив ее грязной водой полностью. Власти не справлялись, милиция забилась в норы, Хрущев пошел на крайние меры: объявили о создании на заводах бригад в помощь милиции. Их сокращенно называли бригадмилльцами, потом придумали аббревиатуру БСМ, то есть «бригады содействия милиции», в конце концов закрепилось название «народные дружины». Правительство было в такой панике, что дебатировался вопрос о снабжении этих дружин огнестрельным оружием, но разбушевавшихся уголовников удалось кое-как снова обуздать, и вопрос о выдаче пистолетов дружинникам втихую замяли.

Общественная дисциплина и самосознание того времени: невозможно сачкануть с уроков или вообще не пойти в школу, а двинуть в кино или просто пойти гулять. Любой взрослый, заведя в неположенное время на улице существо школьного возраста, тут же останавливал и строго спрашивал:

- Мальчик, ты почему не в школе?
- Да я, дядя... относил домашнее задание больному товарищу...
- Это надо делать после уроков, – говорил еще строже взрослый. – А теперь быстро беги в школу!

Вслед за Индией и другие страны начинают освобождаться от ее власти. В печати поговаривают, что если так будет продолжаться, то Англия может потерять статус сверхдержавы и отойти на второй план.

Но пока что у Англии еще много земель помимо самой Великобритании, один Ближний Восток в десятки раз больше Англии! Правда, там с помощью Советского Союза возник Израиль, но его сразу же называли кленовым листочком на спине арабского слона, все остальные страны вокруг – колонии Англии.

Мы с трепетом выходили в этот враждебный мир, где только немногие смотрят с любопытством, совсем единицы – с восхищением и завистью, а остальные – с ненавистью, ибо мы в рубашках в яркую клетку, так одеваться нельзя, это же предательство, это вызов. Все люди одеты в серое, это прилично, можно еще в черное или белое, а если нужно в праздничное, то есть ткани в мелкую полоску или в горошек. И полоски, и горошек обязательно мелкие, крупные выглядят неприлично, вызывающе.

Особенно жуткие слухи ходят о бэсээмовцах, эти охотятся не столько за бандитами и хулиганами, сколько за такими, как мы. Ибо бандиты и хулиганы – это свои, а вот мы – предатели Родины, так как надели несоветские рубашки. И хотя они тоже советские, и ткань наша, и шила рубашки моя мама, но вот нельзя рубашки такие яркие, нельзя эти клеточки!

...и, конечно же, нельзя, ни в коем случае нельзя надевать вот такие брюки с узкими штанинами. Прямо дудочки какие-то! Это оскорбление простому советскому человеку, плевок в лицо строителю коммунизма.

Сегодня мы вышли на Сумскую, это наша центральная улица, как в Москве – улица Горького, а в Одессе – Дерибасовская, и пошли по той стороне, которая среди молодежи зовется Бродвей-стрит, в отличие от Гапкин-штрассе, где передвигаются все остальные. Анатолий вздрогнул, сказал торопливо:

– Смотри, там везде пусто!

– Да нет вроде...

– Куда смотришь, впереди!

Улица впереди опустела, а навстречу нам идет группа крепких парней рабоче-крестьянской внешности, одеты тоже по рабоче-крестьянски, да и лица у всех рабоче-крестьянские с характерными низкими лбами и широкими челюстями.

Мы попытались попятиться, повернулись, Анатолий ахнул, с той стороны улицы надвигается еще одна группа. Там человек десять с красными повязками на руках. С собой тащат троих подростков, у двоих кровь течет по лицам, у всех троих разорваны рубашки.

Ладно, как-нибудь расскажу, как эти сволочи распарывали узкие брюки вот таким захваченным парням, как срезали им чубы и вообще длинные волосы, как отрывали толстые подошвы, ибо нельзя советскому человеку ходить на толстой подошве! Милиция делала вид, что она ни при чем. Это, мол, здоровая часть общественности выражает недовольство нездоровой. По-своему.

В паспорте заменили «Кагановический район» на «Киевский», а московский метрополитен спешно переименовывают из «имени Кагановича» в «имени Ленина». Получается смешно: «метрополитен имени Ленина ордена Ленина», но мы скоро привыкли, а новое поколение вообще не будет замечать шероховатости.

По всей стране спешно сбивают с улиц таблички с именами опального кремлевского градоначальника, меняют учебники, из энциклопедий выдирают портреты Кагановича и статьи о нем, уничтожаются его книги, а также книги о нем, его многочисленные портреты.

Нам все равно, эти побоища наверху нас не касаются. Нас больше интересуют новости о строящейся китобойной флотилии «Слава», что вот-вот выйдет в просторы океана «...у кромки льдов бить китов, рыбьим жиром детей обеспечивать», как сразу же запели в песне, что стала сверхпопулярной.

Может быть, из-за того, что ее с утра до вечера крутили по радио?.. Но ведь в самом деле неплохая песня.

А потом пошли новости перед каждым сеансом в кинотеатре о том, как китобойная флотилия вышла в океан и начала китовый промысел. Во всех роликах новостей показывают, как китов бьют, как волокут к кораблю-матке, как поднимают на борт, а там огромными секирами распластывают огромные туши, обнажая красное мясо и белесый жир.

Вся палуба залита жиром, счастливые рабочие ходят в резиновых сапогах, а капитан флотилии, стоя на разделываемой туше, радостно докладывает, что сегодня убили на тридцать китов больше, чем вчера, месячный план будет точно перевыполнен!

Корабль-матка – это огромная специализированная плавучая фабрика для разделки китов, там огромные емкости для складирования отдельно мяса, отдельно – жира, ценнейший китовый ус – тоже отдельно, а окровавленные скелеты тут же специальными лебедками поднимаются и сбрасываются за борт.

После первого же возвращения китобойной флотилии в порт во всех магазинах появилось китовое мясо. Женщины сперва брезговали, покупали его собакам, но потом привыкли,

мясо оказалось совсем неплохое, только темнее обычного, мы ели его с аппетитом, а по цене оно значительно уступало телятине, а говядине так и вовсе.

Профессия китобоя стала такой же романтической, как летчика или полярника. О китобоях слагали стихи и пели песни, торопливо писали романы, ставили пьесы, их рисовали на крупных полотнах художники и получали за это Сталинские премии, переименованные в Государственные.

Потом было время, когда все продовольственные магазины вдруг завалили кониной. Это мясо, в отличие от китятины, понравилось сразу: сухое, без жира, хорошо готовится, из него можно приготовить все, что из привычной телятины.

Затем конское мясо исчезло, а еще позже так же незаметно ушло и китовое. Из «Новостей дня» ушли радостные репортажи о забитых китах.

Оказалось, что все больше влиятельных международных организаций выступают за запрет на добычу китов. Тех с каждым годом все меньше и меньше. Особенно свирепствует на морях и океанах Япония, она начала раньше всех, на ее долю приходится больше половины всех убиваемых китов. На долю СССР – меньше всего, так как русские спохватились позже всех и построили мощную флотилию тогда, когда под давлением мирового общественного мнения фактически уже был предreshен запрет на добычу китов.

В конце концов добычу китов запретили. СССР и Япония попробовали было продолжить сами, но их прижали экономическими санкциями, от которых потеря больше, так что однажды наша первоклассная флотилия, специализированная под добычу китов, вернулась, не заполнив трюмы и до половины, после чего ее поставили на прикол.

Огромная специализированная фабрика по разделке китов даже не успела себя окупить, долгие годы стояла у причала, потом, говорят, то ли сгнила, то ли рассыпалась, прожавев до последнего клочка металла.

На Западе появились некие сумасшедшие, что доказывают, будто охоту на диких животных надо ограничивать. В необъятной Африке, где видимо-невидимо слонов, носорогов и бегемотов, не говоря уже о стадах жирафов, оленей или прочей мелочи, начинается чуть ли не истребление слонов из-за слоновой кости, а носорогов убивают тысячами из-за его рога, который признан целебным.

Мы смеялись, смеялись, смеялись, но потом это пришло и к нам. Самые сумасшедшие договорились уже до того, что даже волк полезен, мол, санитар леса. Прозвучало незнакомое слово «экология», которое как-то незаметно вошло в жизнь и кое-где сумело навязать свои нормы.

В Африке и Индии планируют учредить пару заповедников, где животных убивать будет нельзя. Дескать, Африка велика. Во всех остальных частях можно, а здесь будет нельзя. Это вызвало бурю негодования, многие просто не могут понять, как это нельзя будет стрелять в бродящего на свободе слона или носорога.

В газетах возникали дискуссии: мол, одно дело – нельзя стрелять в собаку, которая кому-то принадлежит, но бродячих собак отстреливают. Так же точно можно охотиться на диких зверей в любой точке планеты, объявлена эта территория заповедником или нет...

Я пасу козу прямо перед домом, утки и гуси под предводительством большого страшного гусака ходят на речку, где проводят весь день, плавая и добывая себе корм. Как только солнце начинает опускаться, они так же неспешно выбирают на берег, отряхиваются, поджидают остальных, а затем дружной плотной стаей, чувствуя свою мощь, под руководством старого злого гусака шествуют домой. Их не приходится разбирать, как коров, – гуси и утки дорогу в свой птичник не забывают. У всех птиц – «куриная слепота», это значит, что уже в

сумерках они становятся почти слепыми. В лесу птицы с заходом солнца прячутся в гнездах, а на Журавлевке домашние птицы устраиваются на ночь в курятниках, сараях.

И вот теперь на главной улице Журавлевки рядом с проезжей частью дороги истоптали траву, разрыли, начали укладывать шпалы. Прошел слух, что проведут трамвай. А потом мы все смотрели из окон, как укладывают длинные блестящие рельсы. Наконец пустили трамвай, одноколейку. То ли потому, что улица узковата, то ли мало народу здесь, но трамвай ходит с промежутками в двадцать минут. Через каждые три прогона располагается так называемый разъезд, там две колеи, встречные трамваи могут разминуться. Обычно один приезжает и подолгу стоит в ожидании встречного, а пассажиры в нетерпении выглядывают из окон, наконец кто-то кричит: «Идет, идет!»

У нас поблизости только украинские школы, а меня записали в русскую, так что приходится добираться довольно далеко. Я пользовался трамваем, а так как моя школа как раз между двумя остановками, я всегда спрыгивал на ходу прямо перед школой.

В то время трамвай, как и поезда и все-все, не знали автоматических дверей. Это были такие удлинённые кареты, на которых ездили всякие графья, только приспособленные для езды по рельсам. Двери самые обычные, а самое главное – ступеньки вынесены далеко за пределы вагона, так что летом в вагоне пусто, а на ступеньках, держась за поручни, гроздьями висят даже взрослые, наслаждаясь свежим ветерком.

Многие очень быстро научились догонять трамвай и запрыгивать на ходу, а также соскакивать. Это была целая наука: трамвай движется все-таки быстро, и спрыгнуть всегда труднее, чем запрыгнуть. В запрыгивании самое главное – догнать и ухватиться за поручень, а там уже все понятно: толчок от земли, мышцы руки сокращаются, помогая поднять тело, и вот ты уже на ступеньке. А в спрыгивании есть очень важная особенность: трамвай может двигаться гораздо быстрее, чем ты сумел бы его догнать.

Здесь нужно изготовиться, откинуться всем телом на вытянутых руках, чуть согнув ноги и выгнув горбом спину, начинаешь раскачиваться по ходу трамвая, все сильнее и сильнее, как бы погашая его скорость, потом резко отталкиваешься руками и ногами, летишь по воздуху навстречу земле лицом вперед, но сильно-сильно откинувшись навзничь, чтобы сила инерции не ударила сразу же с размаху о землю.

Здесь очень важно выдержать первый удар подошвами о твердую землю и быстро-быстро перебирать ногами, пока сила инерции несет вперед. И вот так, пробежав немного, останавливаешься в том месте, где и рассчитал остановиться.

Я всегда спрыгивал за десять метров перед входом в школу, пробегал их и останавливался перед нашими красотками, что вышли погреться на солнышке.

И вот однажды... Я ехал на подножке, небрежно и красиво держась одной рукой, великопный и беспечный, гордый и независимый, ведь я уже второгодник, меня все боятся, любому могу в рыло, что иногда и делаю. Сейчас же издали заметил у входа Нонку Жуковскую, Ирину Горн, Люду Мамину и других красоток, выпрямился, приготовился соскочить стильно и красиво... Подножка, когда-то рифленая, оказалась вытерта до блеска. Я привычно оттолкнулся, но подошва скользнула, толчка не получилось. Я все же соскочил, уже поневоле, но инерцию погасить, отталкиваясь от трамвая, не сумел, меня понесло вперед слишком быстро. Я не успевал перебирать ногами, земля прыгнула навстречу, ощутил сильнейший удар, меня раз пять перевернуло, и, когда мое тело перестало кувыряться, я понял, что лежу у ног наших хохочущих красоток!

Никогда и ничего я не желал так страстно, как в тот момент провалиться сквозь землю. Провалиться, рассыпаться в пыль, исчезнуть. И чтоб меня больше никто никогда не видел.

Ничего не изменить, на мои первые годы жизни в самом деле выпали самые голодные годы на Украине. Был знаменитый голод, о природе которого до сих пор спорят историки:

был ли он вызван нарочито, или же это грубейший просчет в политике, но факт остается фактом, я прожил два жутких года в краю, где трупы умерших от голода некому было убирать с улиц, люди умирали от голода в домах и на пороге домов, Украина обезлюдела, а затем... грянула война.

Война – это новый голод, когда не было дня, чтобы я не хотел есть или хотя бы на час ощутил себя не голодным. Из-за постоянного недоедания рос похожим на тех детей, которых показывают в хронике о голодающих африканцах, сразу же обзавелся пороком сердца, рахитом и всеми болезнями, какие только можно получить в раннем возрасте.

Постоянно падал то в голодные обмороки, то от сердечной недостаточности. Если зимой мне пытались брать анализ крови, то кровь не проступала из белых обескровленных пальцев. Врачи, не понимая причины, отсылали прогреть пальцы на батарее парового отопления, я только криво улыбался, знал, что это не поможет. Кровь поступает в мои конечности только в тех случаях, когда я прогреваюсь весь. Изнутри.

Ангины мучили шесть раз в год, то есть раз в два месяца. В это же время мучительно ноют все кости, ревматизм заставлял корчиться и орать от боли. А один старый врач-горловик, так их называли, заметил вскользь, что ангина и ревматизм – это почти одно и то же, во всяком случае – постоянные и неразлучные попутчики. И что ревматизм всего лишь лижет суставы, но кусает сердце.

Бабушка отвела меня к другому врачу, «сердечнику», и тот после тщательного обследования сказал, что, если мальчику не сделать срочную операцию по удалению гланд, он не проживет больше, чем полгода. Сердце, и без того изношенное и слабое, с тому же с пороком, не выдержит увеличивающейся нагрузки.

Через пару недель бабушка и мама заставили меня отправиться к «горловику» и записаться на удаление гланд. Меня записали, сделали анализы крови. Врач помрачнел, покачал головой. Медсестра спросила встревоженно:

– Что там?

– Сама посмотри.

Девушка взглянула на листок с латинскими буквами и корявыми цифрами, глаза расширились, посмотрела на меня с жалостью, потом на врача.

– И ничего...

– А что я могу?

Они повернулись ко мне, врач медленно складывал листок с анализами вдвое, а потом вчетверо.

– Что там? – спросил я.

Врач сказал медленно, с нерешительностью в голосе:

– Понимаешь, когда выдирают гланды, это болезненно...

– Я вытерплю, – прервал я.

– Да, не сомневаюсь, – кивнул он, – но также при удалении гланд... понимаешь, там очень много кровеносных сосудов... Намного больше, чем где-то еще. Почти вся кровь человеческая собралась в голове, а в остальном теле... так, капельки. И вот эта кровь сразу же хлынет... понимаешь? Хлынет тебе в горло. Но не это главное. Все дело в свертываемости. Мы берем анализ в первую очередь на свертываемость! Прекрасная свертываемость – это полторы минуты. Отличная – две. Очень хорошая – две с половиной. Но мы беремся делать и при плохой, это почти четыре...

Он умолк, развел руками. Медсестра посмотрела на меня, вздохнула. Я уже знал, что девчонки считают меня красивым, даже очень красивым, только очень слабым и болезненным.

– А сколько... у меня? – спросил я тихо.

– Двенадцать, – ответил он. – Понимаешь, мы могли бы тебе прописать курс препаратов, что усиливают сворачиваемость, но это повысит всего на одну-две единицы. Это важно при сворачиваемости в пять или четыре минуты, но когда двенадцать...

Он снова развел руками. Я переступил с ноги на ногу, сказал беспомощно:

– Но хирург сказал, что я за полгода умру от сердечной недостаточности, если не...

Я умолк, ком подступил к горлу. Врач вздохнул, сказал невесело:

– Медицина пока не всесильна. А так истечешь кровью у нас на столе. Мы не сможем остановить кровь. Там, в горле, повязку не наложишь!..

Медсестра сказала робко:

– Впереди еще целых полгода! За это время многое может случиться!

– Что? – спросил я тупо.

– Ну... придумают какой-то способ... Изобретут новые лекарства...

Я кивнул, взял листок с анализом крови и вышел на улицу.

Я не умру, сказал я себе зло. Не умру! Я ведь родился? Значит, я нужен, я родился для чего-то. Рожден, чтобы совершить что-то потом, когда смогу. Не могу я вот так взять и умереть, если рожден для какой-то цели. Я не умру. Я ни за что не умру.

Как раз в это время, наряду с индийскими фильмами, в страну хлынуло и остальное индийское: танцы, статуэтки, йога, индийские песни... Я не мог не заинтересоваться йогой, что обещала чудеса, возможность излечиться от любых болезней и чуть ли не стать бессмертным. Если для кого-то йога была быстропроходящей блажью, то для меня овладение ею стало вопросом жизни и смерти.

Я быстро научился делать самые трудные и сложные асаны, пошел дальше по пути контроля над организмом. И сейчас я умею, к примеру, с такой скоростью двигать глазами, как никто еще из всех знакомых не смог повторить, я умел понижать удары сердца до двадцати в минуту, а температуру под одной рукой поднимал до сорока, а под другой – понижал до тридцати четырех.

Прошел год, я чувствовал себя не только живым, но ангина ушла. Ушла и больше никогда не возвращалась. Ушел и ревматизм. Только сердце осталось деформированным, так как большая часть его сморщилась и практически отмерла, зато другие отделы разрослись, принимая нагрузку, и я перестал чувствовать, что оно у меня больное. Правда, в конечности на холоде все так же кровь не поступала, люди пугались их восковой бледности, руки мертвеца, но когда я уже на Крайнем Севере начал бегать по тайге по двадцать километров в кирзовых сапогах, отжиматься по тридцать раз, то сердце научилось доставлять кровь в самые отдаленные части тела.

Облитерирующий эндартериит. Этот диагноз ставили постоянно, всякий раз добавляя сочувствующе, что сердце у меня очень маленькое, слабое, с пороками, крови качает очень-очень мало, и вот-вот она перестанет поступать в конечности вовсе, наступит гангрена, ноги мне отрежут, но это ничего, и в коляске жить можно... На пятый или десятый раз я уже научился и сам без запинки выговаривать это «облитерирующий эндартериит».

С машинами что-то странное: шофер влезает в кабину, малость повозится там, а затем машина фырчит и трогается с места. Непонятно.

Исчезает привычная картина, когда к автомобилю подходит человек, вытаскивает стальной лом, которым дворники скалывают лед, но только изогнутый, как знак Зорро, то есть Z, вставляет концом в отверстие под радиатором, за другой конец хватается двумя руками, набирает в грудь воздуха, чтобы на одном дыхании, и начинает быстро-быстро крутить по часовой стрелке.

Иногда сразу, но чаще не совсем уж так, в машине раздается пыхтение, потом звук работающего мотора. Крутящий ручку тут же вытаскивает ее и опрометью бросается в кабину.

Иногда – успевает. Если нет, снова крутит этот гигантский коловорот. Если стоишь вот так рядом и наблюдаешь, то иной просит тебя покрутить ручку, а сам дежурит в кабине, чтобы успеть вовремя то ли «схватить искру», то ли как-то еще задействовать работу мотора.

Когда идешь по улице, то везде видишь таких, крутящих железные ручки. Машину невозможно завести, не покрутив как следует этот стальной лом. В большинстве случаев крутить приходится долго.

Мне приходилось крутить не раз, это не просто покрутить металлическим прутом: другим концом вставляешь в нечто громоздкое, тяжелое, крутишь с усилием, оно сопротивляется, ты напрягаешь все мускулы, потому что надо не просто провернуть эту железную турбину внутри автомобиля несколько раз, но обязательно раскрутить сильно и быстро, чтобы она, как кремень моего дедушки, высекла там внутри искры...

И вот теперь что-то придумали, машины запускаются уже изнутри. Прямо из кабины. Странно и непривычно.

Все говорят с восторгом: до чего же дошла техника!

То ли мы все такие умные, проницательные, всезнающие, но фильмы, что в прокате, нам все до единого понятны и предсказуемы. Может быть, так и надо: зло должно быть наказано, а добро должно не только победить, но и получить вознаграждение, но из-за этого фильмы стали слишком простыми, упрощенными даже, а мы, чувствуя свою сложность, требовали, чтобы эта наша сложность и непредсказуемость отражалась и в искусстве.

Будучи наблюдательными и язвительными подростками, всегда следили за героями и героинями: как только наш доблестный разведчик поцелует чужую женщину – все понятно, скоро предаст Родину и будет работать на гитлеровцев, а потом и на американцев, что одно и то же. Если же немец, который добивается нашей женщины, наваливается на нее и уже рвет на ней платье, то здесь самый решающий момент: если успеет его ударить, вывернуться и убежать, то останется жить, а если он ее все-таки изнасилует, то минут через десять она либо сумеет застрелить его и погибнет сама, либо взорвет мост и тоже погибнет, либо спасет кого-то из наших, но сама обязательно погибнет.

Ну не могла раньше обесчещенная женщина остаться в живых, не могла!

Впрочем, не только в нашем. Во всех западных фильмах – то же самое. Последний фильм, что смотрел на подобную тему, американский «Мост Ватерлоо». Кажется, это в нем женщина, когда узнала, что ее муж погиб, пошла подрабатывать проституткой. Но он, оказывается, уцелел, вернулся, и тогда она бросается с моста, ведь занятие проституцией пятнает человека уже навечно! Да, это не нынешний кинематограф, где ричарды гиры женятся на проститутках!

Если в фильме появляется старик и мальчик или девочка, то старик в конце фильма обязательно погибнет, его предательски убьют немцы, либо он останется отстреливаться, прикрывая собой отступление и бегство мальчика и девочки.

В любом случае старика убьют, режиссеры и сценаристы просто соревнуются, кто, как и за что убьет старика. Все хотят придумать что-то необычное... но в рамках. Однако в любом случае старик должен погибнуть, это предрешиено еще с первой минуты, как он появляется на экране.

И, главное, это сразу всем видно. Наверное, чтобы все начинали жалеть заранее.

На улицах столбы всех видов: телефонные и для электропередачи, даже высоковольтные, но все только деревянные. Монтеры взбираются, прицепив к ногам «кошки»: железные приспособления с острыми когтями, что впииваются в древесину, не давая соскользнуть к

земле. На новеньких столбах отметин совсем мало, а старые излохмачены, будто по всей высоте грызли медведи. Только на самом верху, где провода, поверхность столбов гладкая.

Как громкий непристойный крик в храме, прозвучало в эпоху Хрущева появление в продаже «ковбоек», так называли рубашки, где впервые на ткани появились клетки. Не яркие, пока еще очень блеклых сдержанных расцветок, но уже не в обязательную полоску или вовсе однотонные.

Такие рубашки нарасхват, но завезли их в СССР очень мало. Если учесть, что тогда большую часть одежды не покупали в магазинах, а шили в «индпошиве», так раньше назывались ателье по пошиву одежды, то большинство стали заказывать рубашки в этих пошивочных мастерских.

Мне сшила мама, ярко-красную с оранжевым, и, когда я шел по улице, на меня оглядывались с испугом, словно на марсианина или выходца из ада.

Наконец, все как с цепи сорвались, началась такая дикая мешанина цветов, что все ходили, как попугаи, разодетые в самые яркие и противоположные цвета. Люди стали похожи на семафоры, где красное, зеленое и желтое самых ярчайших оттенков бросается в глаза издали.

Потеряла значение форма одежды, преобладающим стал цвет: кто ярче – тот моднее.

А затем пришло то явление, что называли общим словом: «стиляги».

Да, стиляги, так как до этого все поколение, а до него – предыдущее, что для нас – вечность, носили одинаковую одежду, одинаковую обувь, одинаковые головные уборы. Даже стриглись все одинаково. Первый прорыв произошел с цветом, а потом вдруг, опять же из-за приподнявшегося железного занавеса, узнали, что если брюки слегка заузить, то они станут более удобными и выглядеть лучше и... стильно.

А узнать нетрудно: в новостях постоянно показывали бедных голодных негров в Америке, что роются в мусорных баках, бастующих рабочих, демонстрации протеста против войны – и все мужчины, даже старшего возраста, в узких брюках!

Это оказалось так просто: всего лишь распороть штанины, вырезать узкий треугольник материи и снова зашить. Не нужно даже в индпошив или в ателье: наши матери и сестры проделывали это за пять минут, и мы выходили на улицы преображенные, «стильные», слегка испуганные своей дерзостью.

Да, дерзкие, потому что не только старшее поколение, что понятно, но и наши сверстники, что потупее, яростно выступали против этого западного разложения. В моей бригаде слесарь Геннадий, старше меня всего на два года, с пеной у рта доказывал, что я – сволочь, если заузил брюки, как делают на Западе. Что это первый шаг к предательству Родины...

– Но это мода, – возражал я. – Сейчас только некоторые заузили брюки, а потом все так сделают!

– Не сделают!

– А если?

– Перебьем сволочей!

– А если все индпошивы будут строчить штаны только с узкими брючинами?

– Буду покупать фабричные!

– А если и в магазинах начнут продавать только зауженные?

– Этого никогда не случится!

– Ну а если?

Он заскрипел зубами, в глазах сверкнули красные искры.

– Буду распарывать и вставлять клинья!

К слову сказать, уже через два года он носил брюки еще более зауженные, чем у меня. Чтобы влезть в такие брючины, нужно было намазывать ногу. Я, конечно, на такие излишества не шел, мне в то время какая-то другая вожжа попала под хвост, но я понял, что одни люди легко и быстро принимают новое, а другие куда тугодумнее, однако если первые потом легко отказываются от нового ради еще более интересного и нового, то других все равно надо тащить силой, а то и подгонять пинками.

Загнать всех стилиг в лагеря – поздно, даже Иосиф Виссарионович не стал бы. Уже во всех городах сотни тысяч молодых парней носят узкие брюки и стригутся под Элвиса Пресли, в США появился такой молодой шоферюга с изобретенным им рок-н-роллом, потому на стилиг объявили всесоюзную травлю в газетах, журналах, по телевидению. «Крокодил» и прочие сатирические журналы, что раньше рисовали в основном карикатуры на Черчилля, Чан Кайши и предателя Тито, сейчас переполнены ядовитыми рисунками художников стилиг, которых иначе, чем в виде грибов-поганок, и не рисовали. Особенно массово идут рисунки Кукрыниксов, наши сталинские лауреаты изображают «эту мерзость» на первых страницах «Правды», «Известий», «Комсомольской газеты» и прочих-прочих.

Вошла в обиход формула: сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст!

Когда я работал по вербовке на лесозаготовках среди эжов, заметил, что все уголовники – патриоты Советской власти. Стилиг готовы убивать на месте, за Советскую власть любой Запад порвут голыми руками. И никакая западная идеология их не возьмет, тлетворное влияние инакомыслия не коснется.

Как уже говорил, с самого раннего детства предоставлен сам себе, мать и дед работают по две смены, бабушка едва управляет с хозяйством: куры, свиньи, козы, кролики, к тому же во всех магазинах надо было отстоять громадную очередь, чтобы купить хотя бы буханку хлеба, успеть приготовить ужин и собрать «тормозок» с собой, так что бабушка загружена с утра до поздней ночи.

Потому мною дома заниматься некогда, а я, предоставленный сам себе, вскоре нашел выход, чтобы взрослые не останавливали и не спрашивали, почему не в школе: вообще отказался от портфеля, даже от учебников. Брал с собой только дневник и тетради, без которых уж никак нельзя. Но их можно засунуть за пазуху и так бродить по городу, вместо того чтобы сидеть в опостылевшей школе и слушать то, что либо неинтересно, либо давно знаю из книг.

Как результат: на каждое лето я получал переэкзаменовку, а в седьмом классе так разленился, что даже переэкзаменовки не дали. Просто оставили на второй год, как... неуспевающего.

В моем классе прозвучало, как анекдот, одно родительское собрание, на котором мою мать предупредили, что ее сына, скорее всего, оставят на второй год. После собрания одноклассники высыпали в коридор в сладком предвкушении жестокой трепки, которую мать задаст мне, но, к их глубочайшему разочарованию, она сказала мне только: «Сырники в духовке, еще теплые», поцеловала в щеку и пошла во вторую смену на фабрику.

Да, я остался на второй год, что меня несколько не смутило и не встревожило. Учиться вообще бросил, но на третий год оставлять вроде бы нельзя: перевели в восьмой класс.

А в следующем, восьмом, исключали трижды за драки и хулиганство, сперва на три дня, потом на неделю, наконец на две недели, после чего выдали табель и захлопнули дверь. К счастью, мне как раз исполнилось шестнадцать, я пошел на завод слесарем, там же поступил в вечернюю школу рабочей молодежи, откуда меня исключили за драки через два месяца.

Да, как раз исполнилось шестнадцать лет, уже можно на работу так называемой «малолеткой», то есть на сокращенный рабочий день.

Ближайший к нашему дому – завод ХЭЛЗ, он тоже на окраине, только на другой стороне реки, куда мы ходили бить тюρινцев. Но те времена быстро прошли, сейчас и Журавлевка, и Тюринка – окраины, которые против центра, так что я без опаски прошел по мостику на территорию врага, что уже не враг, отыскал завод и толкнул дверь проходной.

Бабулька-вахтерша мирно посмотрела на меня поверх очков.

– Что тебе, милай?

– Хочу устроиться на работу, бабушка.

Она вздохнула, что-то написала на листочке и протянула мне.

– Вот тебе временный пропуск. Проходи на территорию, вон в том домике – отдел кадров. Там все и расскажешь.

Начальник отдела кадров – полный идиот. Долго, подробно и проникновенно рассказывает о преимуществах профессии слесаря-ремонтника, напирая на то, что ремонтники выходят на пенсию не в шестьдесят лет, а в пятьдесят пять! Как будто не одно и то же! Сейчас мне шестнадцать, а шестьдесят исполнится... может быть исполнится, в тысяча девятьсот девяносто девятом!.. Страшно не то что выговорить, но даже вышептать эту цифру: *тысяча девятьсот девяносто девятый год!* Значит, если проработаю ремонтником всю жизнь, смогу выйти на пенсию не в тысяча девятьсот девяносто девятом, а в тысяча девятьсот девяносто четвертом!.. Даже цифрами, чтобы нагляднее, абсурднее – 1999 год, это если на пенсию по старости, и в 1994-м, если с вредными условиями труда. Ну не идиот ли? Какая разница? Да я не доживу до такой дряхлости...

Я брезгливо представил себя трясущегося от тяжести лет старца. Сейчас мне шестнадцать... да я никогда не буду старым! Никогда. Это просто невозможно. Год и то – неимоверный срок. Да что там год – месяц тянется так, что можно пешком до Луны и обратно. Я просто не могу себе представить этот чудовищно далекий, просто недостижимый 1999 год. Это так же далеко, как до времен Наполеона или египетских фараонов.

– Я пойду слесарем-ремонтником, – сказал я.

– Вот и прекрасно, – обрадовался начальник отдела кадров. – Там не так уж и тяжело, как считают, только немножко шумно... Зато на пенсию на пять лет раньше, ты только подумай!

Я кивнул, он быстро выписал мне направление, пока я не передумал, и я отправился в цех РЗО, то есть ремонт заводского оборудования. Там я проработал положенные два месяца учеником слесаря, получил второй разряд, еще через полгода повысил его до третьего, через три месяца до четвертого, а затем какой-то странный зудеж заставил все бросить и перейти на том же заводе в деревообделочный цех учеником столяра.

Тогда еще не знал, что это как будто в генах: больше года я редко задерживался на какой-то работе. Бывало даже так, что, проработав год, уезжал в экспедицию на Дальний Восток или в Сибирь, а потом возвращался на тот же завод и в тот же цех на ту же работу. Всегда принимали с ликованием: я из тех, кто может подменить любого запившего работягу, может отработать две-три смены кряду, выйти в выходные дни.

На всех предприятиях настроены против «летунов» – часто меняющих место работы, я только слегка чувствовал себя виноватым, но только потому, что каким-то образом огорчаю других людей, однако же странная правота в своих поступках не оставляла ни на минуту. Это потом сообразил, что смена работы просто необходима: иначе как расти, повышать уровень, повидать мир и людей, если всю жизнь простоять у одного и того же станка?

Смотрю с брезгливой жалостью на своего бригадира Владимира Босенко. Ему уже тридцать два, это почти старик и рассуждает по-стариковски. Его волнует, какая у него будет пенсия, уже прикидывает, как будет работать последние пять лет, чтобы набрать как можно

выше заработной платы. Именно с них будет насчитываться пенсия, которую станет получать остаток жизни.

Посоветовал и мне подумать, я взял бутылку с молоком и отошел к играющим в домино. Дурак этот бригадир, хоть и слесарь высшего разряда. Мне семнадцать лет, да я никогда не доживу до этих дурацких шестидесяти лет! И не хочу доживать, это же совсем дряхлые старики, что едва ходят, трясущиеся и опирающиеся на палочку. Они ничего не помнят, забывают свое имя, их водят под руки, поднимают с постели, чтобы не нагадили прямо там...

Нет, я никогда не буду шестидесятилетним. Никогда.

Это просто невозможно.

Очень долго писали и рассказывали небылицы о так называемых дальновизорах, наконец их начали выпускать в продажу под названием «телевизоры».

У слесаря-ремонтника высокая зарплата: мне хватило всего лишь получки, чтобы купить появившийся в этом месяце таинственный телевизор «КВН». Телевидение работает два раза в неделю по два часа. Теперь в эти заветные дни к нам набивается в комнату соседей, как селедок в бочку, рассаживаются и ждут того удивительного мгновения, когда загорится крохотное окошко и начнется телепередача. Появилась шуточка: хочешь разориться – купи фотоаппарат, хочешь поссориться с соседями – купи телевизор.

Сам экран размером с почтовую открытку, а ящик телевизора – почти с массивный комод. Тут же поступили в продажу линзы, чтобы увеличивать изображение, иначе приходилось сидеть буквально вплотную к экрану, чтобы хоть что-то разобрать в этой бледной черно-белой картинке. На самом же деле она не черно-белая, а практически всегда серая.

Линза, огромная, пустотелая, устанавливается на ножках перед экраном, в дырочки сверху заливается дистиллированная вода, и линза начинает переломлять, увеличивая изображение. Иные умельцы заливают глицерин, он вроде бы дает больший угол переломления, а некоторые добавляют еще пару капель зеленки или йода, делая изображение «цветным». Как сказка прозвучало предсказание одного из крупнейших ученых, что через какие-нибудь двадцать лет, то есть в 1977 году, у нас будет круглосуточное телевидение, причем три-четыре канала, а к 2000 году придет эпоха цветного телевидения: круглосуточного, не меньше десятка каналов.

Неужели это случится? Правда, тогда уже наступит полный коммунизм...

На заводе в моей бригаде сегодня вспыхнула горячая дискуссия: видит или не видит дикторша сидящих перед экраном.

– Конечно же, видит, – доказывал Павел, слесарь пятого разряда, – она смотрит прямо на меня! И когда я пересел, ее глаза тоже смотрели на меня!

– Верно, – поддержал Егор. – Она видит всех.

Бригадир, Малюков, всплеснул руками.

– Да как она вас видит, олухи!.. Вас же тысяча!

– Ну, тысячи не наберется, – возразил рассудительно старый опытный Калиниченко. – А если и тысяча, то что?.. Вот когда на митинге человек выступает, он видит и побольше всяких морд, и все на него смотрят...

Влодавец, горячий быстрый монтажник, мотал головой, кипятился, доказывал:

– Все брехня, все!.. Я нарочно перед ней штаны спускал, все показывал!.. Она и не моргнула!

– Ну и что? – возразил Калиниченко. – Вот Нюрка-штукатурщица тоже глазом не моргнет, что бы ты перед ней ни выделял.

– Да, – поддержал Влодавец, – эти дикторши – народ битый, все повидали. Им чтобы пробиться на телевидение, чтобы себя показывать... пусть и не каждый день, знаешь через что проходится пройти?..

– Но я такое выделявал, – доказывал Влодавец, – что она не могла не... хотя бы улыбнуться!

Я помалкивал, старше меня люди спорят.

Когда в телевизоре исчезает или портится изображение, я снимаю заднюю стенку, там плохой картон на смешных задвижках, и поочередно прижимаю лампы, вдавливая их в гнезда. В большинстве случаев это помогает, лампы при нагреве часто «отходят», вылезают из гнезд. В других случаях двигаю колечком магнита по трубке, повышая яркость, наводя на фокус.

Все эти способы были хороши, пока балом правили лампы. Но затем прозвучало незнакомое слово «транзисторы», о них рассказывали чудеса, а затем появились первые телевизоры на этих самых транзисторах.

Мы вскрывали телевизор и не могли понять: как он работает без ламп? Да, техника поднялась на новый уровень. И все меньше и меньше можно сделать в доме самому.

В детстве я видел у соседей, они жили богато, настоящий граммофон. Это такой патефон с большой изогнутой трубой с раструбом, куда можно засунуть самый большой арбуз. Труба красиво блестит, а когда игла скользит по пластинке, скрип превращается в хриплую музыку, даже слышно, как поет человек.

Потом их усовершенствовали, появились патефоны. Эти похожи на граммофоны, но ящик втрое меньше. И еще без трубы. Звук получается по-старому, но потом усиливается электричеством, так что огромная труба уже не требуется.

Правда, надо часто крутить ручку, чтобы завести пружину, она потом раскручивает диск, на который надевается пластинка. На любой вечеринке кто-нибудь из парней обычно подходит к стоящему на тумбочке патефону и периодически крутит ручку. А есть такие, не умеющие танцевать, что весь вечер заводят патефон, довольные, что и они вроде бы при деле, участвуют.

А вот теперь в продаже появился первый магнитофон, который, как обещали статьи в журналах, творит просто чудеса. Я зарабатывал достаточно хорошо, так что с ближайшей полочки отправился в магазин и купил это волшебство, как только они пришли к нам в Харьков. «Днепр-10», огромный ящик с открывающейся крышкой, на которой два штыря, для одевания на них бобин с магнитофонными лентами. Понабежали друзья, у них такого чуда нет: кто продолжает учебу, а кто и работает, но на таких работах, где не надо трудиться как следует, а на таких, как правило, и платят слабо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.